

**Мирон Шескин**

**МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО Р. ПОРТНОЙ  
ИЕРУСАЛИМ**

© Miron J. Sheskin

“LONG IS THE ROAD TO JERUSALEM“, 1980

Cover design by Josef Kapelian.

R. Portnoy Publishing House, Jerusalem

Эта книга — моя овеществленная память. Мне хотелось, чтобы новое поколение побольше знало о времени моей молодости. Книга эта — и мои воспоминания, и еще одно непосредственное свидетельство эпохи, рассказ о великих и трагических событиях, о выдающихся людях, с которыми мне довелось встретиться. Главное, к чему я стремился, работая над этой книгой — историческая достоверность.

Если я забыл упомянуть в этой книге кого-либо из тех, кто полагает, что я должен был это сделать, то я прошу у них прощения, как и у старых друзей, о которых, может быть, сказал что-нибудь, что показалось им лишним.

*Д-р М. Шескин*

*“Огромной заслугой Герцля было то, что, осмыслив еврейскую традицию, он осознал и провозгласил во весь голос: “Борьба за создание еврейского очага или, точнее, центра в Палестине – достойная цель, на осуществлении которой стоит сконцентрировать наши усилия”.*

**Альберт ЭЙНШТЕЙН**

**Моим внучкам  
Тамаре и Лили**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ИСТОКИ

Местечко . . . . .	9
Происхождение моей семьи . . . . .	12
Раши . . . . .	13
Жизнь в Олькениках . . . . .	16
Их вейс? Вер вейс? М'кен гуришт висей? . . . . .	18
"Котелок" . . . . .	22
Смерть местечка . . . . .	27
Вильно: право быть евреем . . . . .	28
Моя семья . . . . .	29
Теодор Герцль . . . . .	31
Владимир (Зеев) Жаботинский . . . . .	33
Русская делегация в Палестине . . . . .	38
Гимназия . . . . .	40
Шульхоф . . . . .	43

### РЕВОЛЮЦИЯ. СКИТАНИЯ

Революция . . . . .	46
Первая Всероссийская сионистская конференция . . . . .	51
Петроградские дни . . . . .	53
Леонид Канегиссер . . . . .	56
Путь к свободе . . . . .	58
Берлин . . . . .	60
Дибук . . . . .	68
Учеба в Берлине . . . . .	70
В США . . . . .	72

### ПОЛЬША. "БРИТ ГАХАЯЛ"

Консульство Гондураса в Варшаве . . . . .	78
"Брит Гахаял" – Союз еврейских ветеранов войны . . . . .	80

### ЛУКИШКИ–ПЕЧОРЛАГ

Арест . . . . .	88
Песах 1941 года . . . . .	104
Белые ночи . . . . .	108
Тюремная больница . . . . .	110
Трудовой лагерь . . . . .	112
Свобода . . . . .	120

### В АРМИИ ГЕНЕРАЛА АНДЕРСА

Еврейский легион . . . . .	128
Квартирмейстер . . . . .	140
Менахем Бегин в Польской армии . . . . .	143

### ТЕЛЬ-АВИВ–ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА–ИЕРУСАЛИМ

В Палестине . . . . .	146
Тель-Авив . . . . .	148
Семья после войны . . . . .	149
После второй мировой войны . . . . .	150
Роза . . . . .	152
Израильские государственные облигации . . . . .	155
Институт им. Вейцмана в Южной Америке . . . . .	157



**ИСТОКИ**

## МЕСТЕЧКО

История нашей семьи тесно связана с местечком Олькеники, что в 50 километрах к северу от Вильно. Олькеники были когда-то известным городом в Литве. В шестнадцатом веке здесь был построен королевский дворец, где часто бывали польские короли Сигизмунд Старый и Сигизмунд Август. Дворец стоял на крутом берегу речки Меречанки. Олькеники были окружены сосновыми лесами, зелеными лугами и полями. Меречанка тихо текла через наше местечко, сливаясь за ним с двумя другими речками — Сольцой и Галузой. Олькеники были частью королевских владений, простиравшихся некогда на десятки верст и включавших немало других деревень и местечек, в которых жили, в основном, крепостные крестьяне.

Не существует достоверных сведений о том, когда здесь стали селиться евреи, приходившие в Литву с юга — с Украины и с запада — из Европы. Евреи двигались по берегам рек. Так они добрались до Немана, а вдоль его притока — Меречанки дошли и до Олькеников. Как известно, русское правительство не разрешало евреям селиться в селах, так что они были вынуждены обосновываться в городах и местечках.

На окраине местечка Олькеники, на невысоком холме стояла старая синагога. В будние дни она была закрыта и открывалась только по субботам и праздникам. Рядом с синагогой был Бейт Гамидраш, открытый всю неделю. Здесь молодежь и старики молились и изучали талмуд.

Слава нашей синагоги пронеслась по всей Европе.



Она была построена в 1798—1800 годах вместо прежней, сгоревшей во время большого пожара. Деньги на постройку этой синагоги были собраны самой общиной. Польский помещик Фриц Грановский пожертвовал евреям весь необходимый строительный лес. Он ежедневно посещал стройку и наблюдал за ходом работ. Он говаривал, что очень хочет дожить до того дня, когда строительство будет закончено.

Интерьер этой синагоги описан в целом ряде книг по искусству. Деревянный алтарь работы итальянских мастеров был сооружен на средства рабби Иосефа, сына рабби Иегуды-Лейба из Лейпуна, небольшого местечка неподалеку от Олькеник. Об этом свидетельствовала вырезанная на алтаре большими буквами надпись. Рабби Иосеф из Лейпуна был по слухам очень богатым человеком: на месте одного из бивуаков наполеоновской армии, недалеко от Лейпуна, он нашел в свое время клад. Рабби Иосеф не захотел тратить найденное сокровище на свои личные нужды. Все найденное богатство он потратил на то, чтобы выписать из Италии мастеров для сооружения алтаря в синагоге. Известные польские архитекторы Мария и Казимеж Пехотка описали это здание в своей книге "Деревянная синагога", изданной в 1959 году в Варшаве. Вестибюль синагоги был расположен с западной стороны, а вдоль северной стены располагалось одноэтажное отделение для женщин. Бима — помост — располагалась между четырьмя колоннами, поддерживавшими потолок. Судя по приводимым в книге польских архитекторов деталям, над постройкой синагоги трудилось, по крайней мере, две бригады мастеровых. Столяры-краснодеревщики украсили потолок и покрыли резными узорами биму и обшивку всех четырех колонн.

Старики рассказывали детям о том, как в 1812 году в Олькениках появились "ди францойзен мит ди курце хойзен" — французы в коротких штанах.

Синагогу посетил тогда сам Наполеон. Он был настолько поражен ее красотой, что приказал оставить олькеникской общине в подарок половину императорского чепрака.

Чепрак был вышит листьями и цветами, в середине его красовался золотой вензель "N" и девиз "Gloria et Patria" ("Слава и отечество"). Он весил около трех килограммов, а величиной был девяносто сантиметров в длину и сорок в ширину. Чепрак этот считался очень ценной реликвией и многие известные музеи стремились присоединить его к своим коллекциям. Но община не соглашалась продать чепрак. (Рассказывают, что накануне прихода нацистов старейшины общины решили сжечь наполеоновский чепрак, чтобы он не попал в руки захватчиков).

Сокровище это хранилось в сундуке в углу синагоги, чтобы каждый мог увидеть его и восхититься его красотой. Случилось однажды, что некий бродяга, которого пустили переночевать в синагоге, улизнул до рассвета, прихватив с собой чепрак. Придя на утреннюю молитву, олькеникцы обнаружили пропажу и бросились в погоню за вором. Они обнаружили его в лесу, где он, сидя под деревом, разматывал золотое шитье вензеля "N". Нитку он при этом засовывал в карман. Завидев приближающихся преследователей, нищий бросился бежать, оставив чепрак на земле. Но вензель он все-таки успел спороть. С тех пор чепрак стал храниться в доме раввина. Обо всей этой истории знали очень немногие. Рабби просил свидетелей происшествия не распространяться о нем, так как если люди узнают о случившемся, они перестанут пускаться к себе на ночлег бездомных людей.

Средоточием жизни в Олькениках была базарная площадь напротив костела. По четвергам и в праздники вся площадь была запружена повозками. Крестьяне продавали лошадей, свиней, овощи, фрукты и всякую всячину.

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Единственным свидетельством того, что евреи жили в Олькениках, по крайней мере, с шестнадцатого века, были могильные плиты на старом кладбище. На некоторых из них была дата 1590. Вдоль западной стены кладбища был ряд полуразрушенных надгробий с надписями, указывавшими на то, что похороненные там люди, по всей вероятности, вели свой род от Шломо бен Ицхака из Труа (Раши).

В тех редких случаях, когда отец заговаривал с нами о происхождении нашей семьи, он рассказывал предания о великом раввине из Труа и о камнях на старом кладбище в Олькениках. Камни были зеленовато-бурые от возраста, и надписи на них угадывались с трудом. На одном из камней, датированном 1837 годом, можно было разобрать фамилию Шескин. Камень этот раскололся и на лежавшем на земле обломке была полустертая временем надпись "рабейну Яков Там".

Специалисты из Еврейской Богословской Семинарии в Варшаве и Вильненского университета установили в 1927 году, что этот обломок действительно был частью надгробия одного из Шескиных, что означало, что Шескины ведут свой род от рабби Якова Тама, потомка Раши.

Потомки рабби Аббы Иосефа Тривуша, олькеникского раввина в 1855—1873 годах свидетельствуют, что у него и у представителей семейств Шескиных и Дворцанов хранились документы, согласно которым их предки пришли из России. Известно, что в четырнадцатом столетии часть семьи Раши переселилась из Франции на восток. Возможно, что некоторые из потомков великого раввина добрались и до Олькеников.

Эмма Фарбер, живущая ныне в Хайфе, знает от своей матери, Хавы Дворцан, урожденной Тривуш,

что когда та была девочкой, ей рассказывали о существовании генеалогической грамоты ("ктив ихусим"), указывавшей на то, что ее семья происходит из Франции и связана узами родства с Раши.

## РАШИ

В старое время, в Олькениках, семьи Шескиных и Дворцанов по традиции собирались каждую субботу вместе для чтения одной главы из трудов Раши.

Раши — Шломо бен Ицхак — родился в Труа, столице Шампани, в 1040 году, через два года после того, как умер Гаон Хай. В то время старые прославленные центры еврейской мудрости на Востоке практически прекратили свою деятельность. Труа был большим торговым городом. Любопытный юноша узнал много интересного о жизни в далеких странах из рассказов многочисленных купцов, приезжавших в Труа со всех концов Европы. С каким-то из этих купцов Раши совершил путешествие в Лотарингию. В Вормсе до сих пор сохраняется скамья, на которой он, по преданию, сидел, когда учил местных евреев. Но легенда-легендой, а история рассказывает, что в рейнском городе Вормсе Раши провел только свои студенческие годы, когда "голодный и полуодетый, отягощенный заботами о жене и детях", он впитывал мудрость своих учителей. В возрасте двадцати пяти лет он обосновался в своем родном городе и стал раввином Труа и окрестностей. По тогдашнему обычаю, раввин не получал жалования. Так что на жизнь Раши зарабатывал трудом в своем винограднике.

Несмотря на свою молодость, Раши быстро завоевал репутацию мудреца. Среди обращавшихся к нему за советами были и пожилые люди. Молодые же

ученики спешили к Раши со всех концов Франции и Германии. Не питая доверия к диалектической проницательности людей и сомневаясь в эффективности распространения устного учения, Раши, как бы благодаря божественному откровению предугадав заботы грядущих поколений, стал истолковывать талмуд своим ученикам. Свои "лекции" он записывал в тетради, на основе которых впоследствии составил комментарий к Вавилонскому талмуду, многократно впоследствии пересматривавшийся самим составителем.

В своем комментарии Раши свел воедино все достижения мудрецов из Африки и Вавилона, а также — традиции школы Гершома, которые он воспринял от своих вормских учителей. Значение комментария Раши превосходит значение работ его предшественников. Это капитальный труд, написанный с невиданным дотоле мастерством, кратко и просто. Самые запутанные талмудические рассуждения разъяснялись с удивительным изяществом. Арамейские слова и выражения снабжались переводами на иврит и разговорный французский. Заметим кстати, что эти переводы являются одним из первых письменных памятников французского языка. Можно с уверенностью сказать, что без комментария Раши талмуд был бы сегодня книгой за семью печатями. Раши нашел время написать комментарий и к Пятикнижию, завоевавший такую же популярность, как и комментарий талмуда и мидрашей. Этот комментарий также подвергся многочисленным переделкам. На склоне лет Раши говорил, что будь он помоложе, он взялся бы еще за одну редакцию своего комментария, чтобы учесть новейшие интерпретации, накапливающиеся день ото дня.

У Раши не было сыновей, но было три дочери. Одна из них так хорошо знала талмуд, что выполняла обязанности секретаря отца во время его болез-

ни — она читала отцу приходявшие к нему письма и записывала ответы, которые ученый раввин диктовал ей. Все три дочери Раши вышли замуж за ученых и родили сыновей, которым тоже суждено было стать знатоками талмуда. Дочерей Раши звали Иохевед, Мириам и Рахель. Четыре сына Иохевед были среди ученых, основавших знаменитую школу "Тосафот".

Двое зятьев Раши, его ученики Меир, сын Шмуэля из Рамеру, городка невдалеке от Труа, и Иуда, сын Натана продолжили традиции учителя и заложили основы "дополнений" (тосафот) к комментарию талмуда, составленному Раши. Иуда завершил также комментарий одного из трактатов, который учитель не успел закончить. Комментарий другого трактата, не законченный дедом, завершил Шмуэль, сын Меира, который составил комментарии к писаниям, отличающиеся простотой изложения. В этой области работал и его брат Шломо. Старший сын Меира, Ицхак, умер в расцвете сил. Шмуэль и Шломо были учителями младшего сына в семье, Якова, по прозвищу "Там", что значит — "совершенный" (так называли в свое время праотца Иакова). Яков Там был признанным знатоком талмуда. Ученые вопросы поступали к нему не только от его французских коллег, но и от мудрецов из Лотарингии, Германии, Италии, Испании и Англии, многие из которых были значительно старше его. Своим острым умом Яков Там постиг все тайны талмуда и умел дать ответы на самые запутанные вопросы. Замечу, что он не стал приверженцем входившего в ту пору в моду казуистического подхода к изучению талмуда. Он не любил праздных догадок, основанных на собственном мнении и не подтвержденных высказываниями из талмуда.

Рабби Там умер в 1171 году. Известно, что когда рабби Лев создал "Голем" — глиняную фигуру, то

раоби Там, вместе с Ибн Эзрой оживляли эту фигуру, вкладывая в ее уста имя Всевышнего. (Согласно легенде останки "голема" захоронены на чердаке Старой Новой синагоги в Праге — см. "Книгу о Каббале" Герцома Шолема).

Раши умер за составлением комментария к трактату "Макот". В момент смерти его рука писала слово "чистый". Случилось это в двадцать девятый день летнего месяца таммуза. Место захоронения Раши неизвестно.

## ЖИЗНЬ В ОЛЬКЕНИКАХ

Наша дача — большой десятикомнатный деревянный дом, окруженный садами и огородами — стояла около моста через Сольцу в полутора верстах от Олькеник. Дом был очень уютный. Перед ним была большая веранда, на которой стоял огромный обеденный стол. На столе всегда было в изобилии молоко, масло и сыр из окрестных деревень и чудесный свежеспеченный хлеб. За забором нашей усадьбы начиналась территория принадлежавшей нашей семье картонной фабрики. Моя мать была одновременно строгой и радушной хозяйкой, настоящим фельдмаршалом в доме, в котором постоянно бывали гости — родственники и друзья семьи, приезжавшие из Вильно.

В тридцатые годы большая часть населения местечка работала на нашей фабрике. Около трехсот рабочих и служащих зарабатывали здесь на жизнь. Фабрика работала в три смены и производила коричневый, серый и белый картон, а впоследствии — и лигнин (искусственный хлопок). Продукция нашей фабрики шла на экспорт в Европу и США, а коричневый кожмит, известный под названием "Шескин-

ский картон”, специально экспортировался в Южную Африку: он был прочный, долговечный и водонепроницаемый и шел на подметки для обуви.

Каждое утро в шесть часов я уже был на фабрике — проверял продукцию ночной смены. После шестичасового свистка семья собиралась вокруг стола на веранде к завтраку. Чаще всего это были отец, мать и я. Летом в Олькеники приезжал мой старший брат Муня, лодзинский адвокат, со своей женой Беллой, урожденной Прувер, и маленькой дочерью Зосей, и мои сестры, Женя и Юлия, жившие со своими семьями в Варшаве. Почти все лето они проводили в Олькениках, так что дом наш был постоянно наполнен смехом и детскими голосами.

Ворота нашей усадьбы выходили на проселочную дорогу, по которой каждый четверг на базар и каждое воскресенье — в церковь проезжали повозки, на которых сидели крестьяне со своими женами и детьми. Обычно все они путешествовали босиком, но переехав через мост, в знак уважения к кресту, вкопанному в землю перед въездом в Олькеники, обували башмаки. Во время этих коротких остановок они подходили к скамейке у наших ворот, где обживала обычно моя мать с сестрами, и предлагали купить что-нибудь из того, что они везли на базар. Моя мать говорила по-русски, а крестьяне — по-литовски, но они прекрасно понимали друг друга.

По субботам мой отец, я, управляющий фабрикой, инженер Шая Левин с группой еврейских рабочих и служащих, живших на территории фабрики, отправлялись в синагогу. Дорога шла через старый сосновый бор.

Вскоре начиналась главная улица местечка, по обе стороны которой стояли маленькие дома, окруженные садами. Дальше появлялись магазины, которые кончились до широкого моста, по правую руку от которого стояла старая синагога и Бейт Гамидраш.



В Олькениках жило немало любопытных людей  
О некоторых из них мне хотелось бы рассказать

**”ИХ ВЕЙС? ВЕР ВЕЙС? М’КЕН ГУРНИШТ ВИСЕН?”**

Меиру Мееровичу было около шестидесяти лет. Он был высокого роста, широкоплеч и бородат. Долгие годы он работал на нашей фабрике, где был конюхом и начальником пожарной команды. Жил он в маленькой, но чистой и аккуратной двухкомнатной хибарке со своей четвертой женой Гелкой. Трех предыдущих жен Меир похоронил, причем каждый раз очень быстро женился снова.

Никто не знал, умен он или глуп. Знаменит он был своим ответом на любой вопрос. Что бы у него ни спросили, он всегда отвечал одно и то же: ”Их вейс? Вер вейс? М’кен гурништ висен?”. (Я знаю? Кто знает? Можно ли что-нибудь знать вообще?).

Каждый раз, когда я, возвращаясь по железной дороге, приезжал на нашу станцию, расположенную в восьми верстах от фабрики, меня ожидал Меир с пролеткой, запряженной парой лошадей. Разговор наш всегда был коротким — несколько вопросов и всегда один и тот же ответ Меира. Я спрашивал: ”Что нового на фабрике?” или ”Как здоровье Гелки?” или ”Какие новости в местечке?”. На все это Меир отвечал: ”Их вейс? Вер вейс? М’кен гурништ висен?”.

Были люди, которые сравнивали Меира с Альбертом Эйнштейном, потому что и в понимании олькеникского конюха все было относительно. Помню, я говаривал Меиру: ”Но ведь не прошло и часу, как ты уехал с фабрики. Как же так, что ты не знаешь, что там происходит?” Он поворачивался ко мне и говорил: ”Но ведь прошел уже целый час!”

О нем рассказывали множество историй. Одна из

них повествовала о том, как его послали на почту за марками. Ему дали пять золотых рублей. Меир выехал в полдень, а вернулся под вечер. До почты же было не более двух верст. Его спросили, куда же это он запропастился. Меир ответил в смущении, что он потерял деньги и поэтому шел всю дорогу назад пешком и искал, куда же упали злосчастные монеты. Но пропажу он так и не обнаружил. Тут кассир стал расспрашивать его, какой дорогой он ехал и когда обнаружил пропажу денег.

— А брал ли ты вообще с собой деньги? — спросил наконец кассир.

Меир ответил:

— Я положил деньги в маленький кошелек, а кошелек — в карман.

С этими словами он вытащил из кармана старенький кошелек и протянул его кассиру. Кассир посмотрел внутрь и увидел в кошельке "пропавшие" деньги.

— Меир, — сказал кассир, — что же ты не посмотрел в кошелек, придя на почту?

— Их вейс? Вер вейс? М'кен гурништ висен? — был ответ.

Всем было известно, что Меир равнодушен к прекрасному полу. Он ухаживал буквально за всеми молодыми работницами на фабрике. Он подкарауливал их после смены у ворот и провожал лесной дорогой домой. Кто знает, о каких приключениях Меира Мееровича могли бы рассказать тенистые деревья.

Любимым его развлечением было наблюдать за купающимися девушками. Чуть не каждый день после работы он мчался на свой наблюдательный пункт в зарослях орешника на крутом берегу реки. Иногда девушки замечали Меира и принимались бросать в него камнями. Но он просто переходил на новое место. Однажды купальщицы поймали его и сбросили в реку. Это, однако, не охладило

Меира. Он продолжал преследовать их, всегда выбирая наиболее удобный наблюдательный пункт.

Лето 1934 года выдалось жарким и засушливым. Верхушки деревьев в лесу горели, как спички. То и дело в деревнях звонили колокола, предупреждая людей о надвигающемся пожаре.

В один из знойных июльских дней занялся пожар в лесу недалеко от фабрики. Меир как начальник пожарной команды снял чехлы с насосов, погрузил на повозки бочки с водой и во главе группы рабочих помчался к месту происшествия. Там уже собралась толпа, в основном молодежь из соседних деревень. Все пытались не дать пожару распространиться на другие участки леса. Это было прекрасное развлечение. Молодыми парнями и девушками предводительствовала пятнадцатилетняя Ядя, не по годам развитая и рослая девушка. Она помогала разматывать шланги, знала под каким углом нужно было направлять струю воды на горящие стволы и ветви деревьев. Из озорства она то и дело направляла шланг на рабочих, а чаще всего — на Меира.

Пожар все не утихал. Огонь приближался к тому месту, где Меир стоял со своим насосом. Вдруг Ядя запустила в Меира горящим поленом. Полено сильно обожгло его, к тому же, на нем загорелась одежда. Срывая с себя горящую рубаху, он искал глазами обидчицу.

Ядя бросилась бежать от места происшествия. Меир погнался за ней. Ноги ее были молодые и легкие, а Меир гнался за ней в тяжелых кожаных сапогах. Расстояние между ними все увеличивалось. Меир задыхался, но не прекращал преследования. Вдруг Ядя споткнулась о торчавший из земли корень и упала. Она попыталась подняться, но не смогла — она сильно ушибла ногу. Ядя сделала последнее усилие подняться, но было поздно. Меир схватил ее за плечи и занес руку, чтобы ударить. Но вдруг...

все переменялось. Меир почувствовал под своими руками молодое теплое тело, крепкие груди. Вмиг забыв о своих первоначальных намерениях, он обнял Ядю. Она отчаянно сопротивлялась, но никто не слышал ее криков...

Когда Ядя пришла в себя, солнце стояло уже высоко. Тишину окрест нарушал только лай собак в далекой деревне. Она медленно поднялась на ноги и пошла домой.

Меир вернулся домой поздно вечером. Тут его и схватили за руки двое полицейских.

В городской тюрьме он долго отказывался отвечать на вопросы и только поглядывал вокруг в изумлении.

Заседание суда состоялось за закрытыми дверьми. Меир сидел на скамье подсудимых, не понимая, что происходит. Он не отрываясь смотрел в окно, на верхушки зеленых деревьев и синее небо. Он грезил наяву о своем местечке, о сосновых лесах и конюшне. Когда в зал суда была вызвана для дачи показаний Ядя, Меир повернулся и посмотрел на нее с улыбкой. Он внимательно слушал ее, но, казалось, не понимал о чем она говорит.

Судье не потребовалось много времени, чтобы вынести приговор — четыре года тюрьмы.

Судья сказал в своей речи, что типы, подобные Меиру, угрожают спокойной жизни нормальных людей. Закончив речь, он повернулся к подсудимому и сказал:

— Я уверен, что, отбыв свой срок, ты станешь примерным гражданином. Ты дорого заплатил за свою ошибку, и я надеюсь, что ты никогда больше не повторишь ее.

И тут раздался грустный, но спокойный голос Меира:

— Их вейс? Вер вейс? М'кен гурништ висен?

## ”КОТЕЛОК”

Недалеко от церкви была остановка автобуса, соединявшего Олькеники с внешним миром. Здесь назначались всевозможные свидания утром, когда автобус уходил в Вильно и вечером, когда он возвращался.

Справа от остановки на площади была аптека — маленький дом, покрашенный в белый цвет и окруженный садом. Здесь местная интеллигенция собиралась, чтобы обсудить мировые проблемы. Взвешивая касторку и отпуская лекарства по рецептам, провизор Штерн, высокий человек в белой шляпе, обсуждал проблему эмиграции в Палестину или намечающуюся в местечке свадьбу.

Точно так же, как в каждом местечке был водовоз, развозивший в бочке на дрогах воду по домам, так ни одно местечко не могло обойтись без своего собственного ”штот мешугене” (местечкового сумасшедшего). Олькеники были знамениты грибами и ”штот мешугене”.

Никто не помнил, когда эту важнейшую функцию стал исполнять Абрамка. Он был создан для этой роли — низенький, лохматый, с бегающими глазами, — он казался ненормальным. Он никогда не отвечал на задаваемые ему вопросы, начиная сразу же либо смеяться, либо плакать. Но жители Олькеник очень его любили. Может быть, потому, что он был очень набожен.

Каждую субботу его можно было видеть в синагоге. Он сидел на задней скамье, завернувшись в ветхий талес, раскачиваясь и напевая низким голосом никому неизвестные мелодии. Он не знал наизусть молитв, а читать не умел.

Как-то жители соседнего местечка решили переманить Абрамку к себе. Это привело к борьбе между двумя общинами. В соседнем местечке Абрамке

предложили отличные условия, и олькеникцы стали опасаться, что их "штот мешугене" покинет их. И было решено, что единственный способ оставить Абрамку в Олькениках — это женить его. Но кто же захочет выйти за бедняка и "штот мешугене" Абрамку?

Верстах в сорока от Олькеник в маленьком местечке жила умственно отсталая женщина лет сорока. Представители олькеникской общины обсудили с ее семьей вопрос ее замужества. Родители невесты были несказанно рады сбыть ее с рук. Самой же невесте пообещали новое платье и розовую ленту.

В день свадьбы все еврейское население Олькеник пришло на базарную площадь, чтобы встретить невесту, которую везли в элегантной карете, взятой напрокат. У дверей Бейт Гамидраша установили хупу. Абрамка был одет в широченный черный сюртук, явно знавший лучшие дни. На шее у него был повязан красный галстук. Он зевал и лениво почесывал голову. Когда ему представили невесту, он посмотрел на нее, улыбнулся, отошел в сторонку и присел на камень.

После свадебной церемонии раздались звуки духового оркестра местной пожарной команды и "гости" начали танцевать. Свадьба была шумная и веселая. Счастливых молодоженов подвели к стоявшему на площади бараку, предоставленному им в качестве временного жилища. Молодые остались одни. Абрамка медленно подошел к своей жене, улыбнулся, погладил ее по руке и сказал: "Я — Абрамка".

В этих словах была вся его биография. Но хоть Абрамка и был Абрамкой, через девять месяцев у него уже был сын, которому дали имя Гершка.

С самого момента его рождения всем было ясно, что настанет день, когда Гершка займет место своего отца. Он был слабым ребенком, постоянно болел. Его обижали все, даже дети. В хедер он не ходил и проводил все свои дни на базарной площади, в пес-

ке, среди гнилых фруктов и других отбросов. Все называли его "дер мешугене". Гершка воспринимал все эти оскорбления, как должное.

Прошли годы. Гершка стал взрослым парнем. С уст его не сходил вопрос: "Когда я стану местечковым сумасшедшим?" Жители Олькеник могли спать спокойно: у Абрамки был достойный наследник престола.

Когда Гершке было 17 лет, отец его, устав от оскорблений и беспросветной жизни, оставил свою "должность" и пошел работать на фабрику. Его поставили на разгрузку дров с грузовиков. Если "штот мешугене" опускался до того, что становился простым рабочим, он переставал быть "штот мешугене". Так Гершка стал местечковым сумасшедшим.

Вскоре Гершку "короновали". Ему обрили голову, надели на него памятный черный сюртук Абрамки, вдели в петлицу белый цветок и во главе праздничной процессии повели на базарную площадь. Впереди шли трубачи. Когда процессия подошла к водяной колонке, Гершку облили тяжелой струей холодной воды, вымочив его с ног до головы. Так Гершка был посвящен в местечковые сумасшедшие. В этот день он впервые за семнадцать лет своей жизни сытно поел. Никто не бил его в этот день. Даже дети вели себя с ним почти почтительно.

Для Гершки, сына Абрамки, началась новая жизнь. Он был тихим парнем, ходил по местечку с куском засохшего черного хлеба в руке. Он помогал хозяйкам таскать воду в дом, колот дрова и выполнял всевозможные подсобные работы. Время от времени он шел на фабрику, где работал его отец, и часами смотрел на дрова, горящие в топке огромного котла.

Он всегда стоял на почтительном расстоянии и никогда ни с кем не заговаривал. Когда наступала зима и улицы Олькеник покрывались снегом, Герш-

ка сидел за печкой в Бейт Гамидраше, в специально отведенном ему углу. Евреи, приходившие молиться, приносили ему поесть. Спал он тут же на деревянной скамье около печки, накрываясь пустым мешком и используя другой мешок вместо подушки.

Однажды вечером, стоя на площади, он увидел, как из одного из домов вышел человек в "котелке". Гершка был поражен видом "котелка". Бывало, он часами простаивал перед домом владельца этой шляпы, только бы хоть на минутку увидеть восхитительный "котелок". День и ночь он твердил одно и то же слово: котелок. Его не интересовали больше ни игры с детьми, ни еда. Он похудел и с трудом передвигался. Все его мысли, если они у него были, сосредотачивались на одном предмете — на "котелке".

Свет не без добрых людей. И вот однажды в субботу, около Бейт Гамидраша олькеникцы увидели странную фигуру в лохмотьях и со старым "котелком" на голове. Это был Гершка, счастливый и улыбающийся. Он придерживал шляпу обеими руками, как бы боясь, что ветер сдует драгоценный головной убор. Как зтот "котелок", сшитый на знаменитой шляпной фабрике Габика в Вене, попал к Гершке, никто не знал. На все вопросы Гершка отвечал только: "Мой котелок!"

Говорили, что "котелок" подарил Гершке начальник полиции. Гершка стал самым счастливым человеком на свете. Месяца три он работал не покладая рук, стремясь помочь всем и каждому. Однажды он пошел к речке вымыть руки. Увидев свое отражение в воде, он начал кричать и прыгать от радости. Когда же он увидел отражение "котелка", по его щекам потекли слезы счастья.

И тут жители местечка стали замечать, что Гершка постепенно перестает быть местечковым сумасшедшим. Они обвиняли парня в том, что он перестал быть дураком и стал разумно отвечать на вопросы.



Рассказывали, что он как-то встретил на улице своего отца и долго с ним разговаривал. Жители местечка стали опасаться, что сын последует отцовскому примеру и наймется рабочим на фабрику. Что же тогда будет?! И все это из-за какого-то черного "котелка"!

Община раскололась на два лагеря — "либералов" и "консерваторов". Первые говорили: "Довольно, покончим с этим средневековым рабством. Пусть идет работать". Но консерваторов было больше, к тому же, среди них были наиболее влиятельные люди в местечке. Они утверждали, что отмена должности "штот мешугене" повлечет за собой целую полосу бедствий, дойдет до того, что в местечке станут в открытую продавать некошерное мясо!

Борьба вокруг Гершки стала идеологической и угрожала привести к расколу общины. И тогда несколько молодых людей задумали решить эту проблему собственными силами.

Был пасмурный день. Дул сильный ветер, срывался дождь. Гершка, усталый и озябший, шел через мост, засунув руки в карманы штанов. На мосту стояла компания молодых людей. Один из них сказал:

— Эй, Гершка! Хочешь папиросу?

Гершка медленно подошел к ним и улыбнулся. Как только он подошел достаточно близко, один из парней стащил у него с головы котелок и бросил его через перила моста в воду. "Котелок" закрутился волчком на воде, потом, подхваченный ветром, устремился вниз по течению. На мгновение он остановился на волне, но затем стал снова удаляться, набирая скорость. Сначала Гершка ничего не понял. Увидев уносимый течением "котелок", он схватился за голову. "Котелка" на голове не было. Гершка вскрикнул как раненое животное и спрыгнул с высокого моста в реку. В воде он ударился головой о деревянную опору моста. Вода

окрасилась тонкой струйкой крови, постепенно вся вода вокруг стала красного цвета. Его пытались спасти, но было поздно. Бедный Гершка уже не нуждался ни в чьей помощи. Он ушел в лучший из миров.

С того самого дня, когда через Олькеники проходил Наполеон, в местечке не было такого шума и беспокойства. Парни, которых обвинили в действиях, приведших к такому трагическому исходу, бежали из Олькеник, опасаясь самосуда. Их семьи пообещали поставить на могиле Гершки большой памятник из белого мрамора с вырезанным на нем черным "котелком". В каждую годовщину его смерти они поклялись ставить в Бейт Гамидраше две свечи в его память.

С белым лицом стоял Абрамка над свежей могилой своего сына. Его глаза были холодны. Он был далеко. Выйдя с кладбища, Абрамка в глубокой задумчивости не повернул на дорогу к фабрике, где он жил, а пошел в сторону местечка. Войдя в Бейт Гамидраш, он вынул из-за печки маленький сверток. Развернув его, он достал оттуда старую потрепанную рубаху и трясущимися руками надел ее на себя.

Через некоторое время он вышел на крыльцо Бейт Гамидраша, остановился у двери, улыбнулся первому же прохожему и поплелся на площадь.

Олькеники не остались без "штот мешугене".

## СМЕРТЬ МЕСТЕЧКА

В 1897 году население Олькеник составляло 2619 человек, среди них 1126 евреев. К 1940 году в местечке насчитывалось всего 1100 жителей.

В воскресенье 22 июня 1941 года в Олькеники вошли немецкие войска. После того, как возле церкви

взорвался автомобиль, в котором ехало трое гитлеровцев, фашисты подожгли местечко. После пожара в Олькениках уцелело лишь несколько домов. В каждом из них ютилось 15—20 семей. Каждый день фашисты выгоняли евреев на принудительные работы.

В воскресенье 20 сентября 1941 года, в канун Рош Гаšana, олькеникским евреям было приказано в пять часов утра собраться на площади. Их окружили эсэсовцы. Вместе с евреями из соседних местечек они были отправлены — пешком — в Эйшишки, за 21 километр от Олькеник. Для сотен мужчин, женщин и детей это был последний путь. По прибытии в Эйшишки евреи были согнаны в местную синагогу и в течение нескольких дней все они были расстреляны на площади перед синагогой. Спаслись лишь те немногие, кому удалось укрыться в лесах. Выжили и некоторые из тех, кто был сослан советской властью в Сибирь или стал солдатом Красной армии. Многие из них приезжали впоследствии поклониться родному пепелищу. Они рассказывали, что от старой синагоги и Бейт Гамидраша остались одни развалины, что зеленая трава проросла между камнями мостовой. Фабрика наша осталась нетронутой, но хозяйничали там теперь коммунисты.

**ОЛЬКЕНИКИ УМЕРЛИ.**

## **ВИЛЬНО: ПРАВО БЫТЬ ЕВРЕЕМ**

Немного на земле городов с таким славным и таким трагическим еврейским наследием, как Вильно, по-литовски — Вильнюс — столица Советской Литвы. Вильно называли в свое время Иерусалимом Севера. В городе процветало множество религиозных,

культурных и учебных еврейских организаций и заведений. Вряд ли найдется хотя бы одна еврейская община на Западе, у членов которой не было бы родственников — выходцев из Литвы. Большинство евреев на Западе и в Израиле знает, что в Вильно еврейская жизнь была ключом.

Из ста семидесяти тысяч литовских евреев около ста тысяч жило в Вильно, где они составляли около сорока процентов населения. По данным последней переписи населения СССР в Вильнюсе живет шестнадцать тысяч евреев (около семи процентов населения города, хотя некоторые вильненские евреи утверждают, что процент еврейского населения в городе в действительности доходит до десяти). Свыше ста тысяч литовских евреев погибло во время Катастрофы. История вильненских евреев напоминает историю евреев Риги: так же, как и рижане они прошли через независимость в межвоенный период, реакционные режимы, включение в Советский Союз в июне 1940 года, фашистское нашествие в июне 1941 и советскую власть с 1945 года до настоящего времени.

## МОЯ СЕМЬЯ

Я родился в Вильно в 1901 году и был третьим ребенком Якова и Сары Шескин. Моего старшего брата звали Ефим (Муня), затем шла моя сестра Женя, затем — я, Мирон (Меир) и сестра Юля.

Моя мать, урожденная Прегель, родилась в Брест-Литовске. Ее отец Вольф был знаменитым "талмуд хохемом" — знатоком талмуда. Ее брат, Юлий, живший с семьей в Одессе, был владельцем нефтеперерабатывающего завода в Николаеве.

Мой отец Яков Шескин родился в Вильно. У него было два брата, Азриэль и Иосиф.

В нашей традиционной еврейской семье преобладали националистические устремления. С детства я помню разговоры взрослых о Палестине. Центральный комитет Русского сионистского движения базировался в Вильно. Мой отец был его членом, наряду с братьями Борисом и Исааком Гольдбергами, д-ром Шмариягу Левиным, а также Гиллелем Златопольским и Исааком Найдичем, жившими на Украине. Одним из руководителей этой группы был Владимир Жаботинский. Кроме своей деятельности в сионистском движении (где он занимал пост председателя Ассоциации промышленников), отец был одно время председателем еврейской общины Вильно. До него председателем был д-р Шабад, после него — д-р Выгодский. Отец уделял много времени повышению благосостояния восьмидесяти тысяч евреев города. Он был ответственным редактором выходившего в Вильно еженедельника "Восход". Во время революции 1905 года мои родители были арестованы царской полицией за распространение этого журнала, в котором печатались "революционные статьи". В "Восходе" сотрудничали Жаботинский, Алейников, Зальцман и другие. Мои родители пробыли в тюрьме очень недолго, но по сути дела, они были одними из первых "узников Сиона" в России.

Мы жили на Садовой улице, где занимали два этажа в одном из домов, выкрашенных в серый цвет. На первом этаже был склад бумаги, на втором этаже справа была контора, в которой работало человек пятнадцать служащих, а слева была квартира, где мы жили. Именно здесь постоянно собирались сионисты, обсуждались животрепещущие проблемы и шли непрерывные поиски "решения".

На фасаде дома полуметровыми буквами было выведено белым: "Бейт мисхар шел нияр, Яков бен Меир Шескин". Это была самая большая из вывесок на иврите в Вильно. Она произвела в городе

большую сенсацию. Примеру отца последовали и другие торговцы. По субботам люди прогуливались по нашей улице, читая и перечитывая эту вывеску. Это была демонстрация принадлежности к еврейству.

В том же доме на третьем этаже жил очень консервативный русский сенатор. Сенатор этот подал на моего отца в суд за то, что тот "осквернил" фасад дома вывеской на иврите. Около двух лет тянулась эта тяжба, но в конце концов суд вынес решение в пользу истца, и отец вынужден был стереть надпись.

Когда в 1844 году Вильно посетил сэр Мозес Монтефиоре, радости евреев не было предела. Монтефиоре приехал с согласия русских властей, и была разрешена демонстрация в его честь. Энтузиазм вильненцев достиг апогея, когда они увидели слово "Иерусалим", выгравированное древнееврейскими буквами на дверце кареты гостя. Евреи Вильно вручили Монтефиоре петицию для передачи царскому правительству. В этом документе, составленном смело и с достоинством, были изложены жалобы евреев и их требования. Никто не знает, что стало с этой петицией.

## ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ

Через 57 лет после Монтефиоре, 27 ноября 1903 года в Вильну, по пути в Петербург, приехал Теодор Герцль. На этот раз власти не разрешили публичного чествования гостя. Напротив, представителей еврейской общины предупредили, что лучше этого не делать. На каждом углу стоял казачий пикет с нагайками наготове. Но демонстрация все-таки состоялась. Улицы были запружены народом, приветствовавшим Герцля, как еврейского царя.

Проезжая в открытом экипаже, запряженном белой лошадью, по нашей улице, Герцль увидел большую вывеску на иврите на фасаде нашего дома. Он попросил остановить экипаж, и отец объяснил ему содержание вывески. Герцль с восхищением пожал отцу руку и позднее написал ему из Вены очень теплое письмо.

В Вильно Герцль жил в центре города. Власти не разрешили устроить торжественный прием в его честь в самом Вильно. Поэтому церемония была проведена в Верках, примерно в двадцати верстах от городской черты. Герцлю преподнесли свиток Торы. Главный раввин Вильно Шломо Гакоген произнес над ним благословение "царям и властителям". Председатель еврейской общины Арье Найшуль прочел записанную на свитке речь, в которой сравнивал литовский Иерусалим с тем Иерусалимом, что в горах Иудеи. "Не нам, о Господи, а другому Иерусалиму, столице нашей мечты, окажи почет".

Как древний пророк Даниэль, Герцль смело направлялся прямо в "логово льва", в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Плеве, министром внутренних дел, который сделал в свое время знаменитое заявление о том, что если в России грянет социалистическая революция, он потопит ее в еврейской крови. Герцль просил Плеве об отмене намечавшегося запрета деятельности сионистских обществ в России и попытался убедить русское правительство ходатайствовать за сионистов перед Константинополем. Плеве был согласен терпеть деятельность сионистов только постольку, поскольку они боролись за создание еврейского центра в Палестине, что означало массовую эмиграцию из России. Он предупредил, что если сионисты станут вести националистическую еврейскую пропаганду в самой России, то все их организации будут разгромлены. Стремление Герцля встретиться с представителями русского правитель-

ства объяснялось не только дипломатическими целями, но и сознанием того, что русские евреи стоят перед угрозой погромов в невиданных дотоле масштабах.

## ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ

Владимир Жаботинский, "правый" сионистский лидер, предчувствовал катастрофу европейского еврейства. Ему принадлежат крылатые слова: "Покончим с галутом (рассеянием), чтобы галут не покончил с нами". Предвоенные речи Жаботинского полны предчувствий надвигающейся беды. Еврейские лидеры той поры были убеждены, что выдвигаемая Жаботинским платформа "активного сионизма" не найдет себе сторонников. Еще в конце тридцатых годов он говорил о необходимости "эвакуации" польского еврейства. Ради осуществления этого плана он шел даже на контакты с антисемитским польским правительством. Жаботинский предвидел трагическую судьбу немецкого еврейства, стонавшего в те годы под тяжестью нацистских антиеврейских законов. Его слова были пророчеством о наступающей катастрофе.

В 1910 году Жаботинский предпринял свое знаменитое путешествие по России с лекциями о еврейской культуре. В то время это было новшеством, и еврейская молодежь восприняла лекции Жаботинского с огромным энтузиазмом.

Приезжая в Литву, Жаботинский останавливался в доме моих родителей. В свободное время, которого у него было, кстати, совсем немного, он помогал мне готовить домашние задания по ивриту, которому меня обучал И. Тривуш. Жаботинский сделал в Вильно предложение дочери Исаака и Рахели Гольд-



берг — Анне. Но мать девушки не согласилась выдать дочь замуж за человека, который, по ее словам, проведет большую часть жизни в тюрьме. (Анна репатрировалась в Эрец Исраэль, где вышла замуж за г-на Толковского, долгое время бывшего впоследствии израильским послом в Швейцарии.)

Владимир Жаботинский происходил из интеллигентной еврейской семьи. В доме Жаботинских царила русская культура. Первые опыты Владимира в стихах и прозе на русском языке получили превосходные отзывы петербургских и московских критиков. Максим Горький посвятил реалистическому стилю молодого еврейского писателя специальную статью. Сам великий Лев Толстой приветствовал "наконец появившегося у нас нового многообещающего писателя". Путь к славе был, казалось, открыт перед начинающим литератором.

И вдруг, к всеобщему удивлению, Владимир Жаботинский прекратил свою литературную деятельность. Его имя исчезло со страниц литературных и общественно-политических журналов, в которых он еще так недавно активно сотрудничал. Что же произошло? Что побудило его столь неожиданно сменить направление своей деятельности? Это была волна еврейских погромов, прокатившаяся по его родной земле после поражения России в русско-японской войне. Молодой писатель был выбит из колеи. Он понял, что бездомность евреев — смертельная болезнь, которая в конце концов сотрет его родной народ с лица земли. Народ Израиля представился ему в образе человека, внешне абсолютно неотличимого от других, но в действительности — лишенного скелета. Хоть с виду человек этот был обычен, на деле он был пустым, ненастоящим и бесформенным, как тряпичная кукла.

Писатель вдруг почувствовал, что предает свой народ и понял, что карьера русского писателя не

нужна ему. Он убедился в том, что в странах рассеяния евреев подстерегают бесконечные опасности, в том, что все устремления еврейского народа в рассеянии бесплодны и суетны. Но Жаботинский стал еврейским националистом не только потому, что уже на заре своей деятельности ощутил неизбежность трагедии еврейского народа в диаспоре. Его национализм также был протестом против того обезличения, которое является главной целью и результатом интернационализма. Он знал, что только утверждая свою особенную природу, свои таланты и характер, человек может служить общим интересам. Жаботинскому было понятно и то, что эти соображения относятся не только к индивидуумам, но и к нациям.

Как настоящий пророк он обличал, движимый любовью. Он хотел видеть свой народ великим и свободным. И поэтому он осуждал и клеймил недостатки сынов Израиля. Жаботинский нетерпимо относился к предательству национальных и духовных ценностей. Он постоянно возвращался к основной истине: евреи — нация! И возрождение еврейской жизни возможно только если эта коренная мысль будет осознана самим народом. В чем смысл личного спасения? Его собственная жизнь была подобна искре, промелькнувшей и погасшей. Вся она была посвящена благородной цели спасения и возрождения еврейского народа.

Как некогда Моисей у неопалимой купины, он услышал призыв к служению своему народу. Вся его жизнь прошла в послушании этому божественному призыву. Через долгие годы боли и унижений, сквозь дни разочарований и сомнений, среди клеветы и ненависти лжепророков, пожертвовав карьерой, славой и спокойным счастьем ради этой идеи, твердый, как камень, прошел Владимир Жаботинский свой путь.

Он сказал однажды: "Я не успокоюсь до тех пор,

пока мой народ не пробудится для свободы. Ни минуты отдыха не могу я себе позволить, пока народ мой не будет освобожден. И если ради достижения этой цели мне придется бороться против евреев, даже если в этой битве мне предстоит погибнуть, даже тогда я буду проповедовать восстание. Дети Израиля! Поднимайтесь на борьбу за свою свободу. Сбросьте сковывающие вас цепи. Горит огонь господень, и его пламя — это пламя свободы!”.

Жаботинский сомневался и страдал, но всю свою жизнь он был озарен мужеством. **ТАКОВЫ БЫЛИ ПРОРОКИ ДРЕВНОСТИ! ТАКОВ БЫЛ ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ!**

В январе 1939 года Жаботинский в последний раз посетил Вильно. Это была его последняя встреча с польскими евреями, которых он так любил и которых он так настойчиво предупреждал о том, что надвигается война и что им необходимо оставить Польшу. Жаботинского сопровождал в тот раз глава вильненского "Бейтара" Исраэль Эпштейн, его давний знакомый. Жаботинский попросил Эпштейна повезти его на кладбище, где были похоронены ветераны партии — Римини и мой отец, свидетели герцлевского периода движения. Жаботинский стоял у могилы моего отца и долго молчал. Потом в тишине раздались его слова: "Вот так они уходят, один за другим. Друзья. Люди моего поколения. Скоро наступит и моя очередь”.

После моего возвращения из США в 1930 г. я часто встречался с Жаботинским и его женой. Он часто приглашал меня к себе в Париж, где мы обсуждали всевозможные вопросы, в том числе и политические.

Нередко Жаботинский приезжал и в Варшаву, где останавливался чаще всего в скромном Краковском отеле на Белянской улице. Он был в Варшаве, когда пришло известие об убийстве Арлозорова. Помню, как мы, группа его друзей и единомышленников,

долго обсуждали это событие в его гостиничном номере. Помню, Жаботинский встал и, захватив с собой пишущую машинку, вышел в соседнюю комнату. Через два часа он снова вышел к нам и протянул нам черновик статьи для еврейской газеты "Момент", озаглавленной "Кальт унд фест" ("Хладнокровно и решительно"). Статья содержала блестящий анализ причин и характера борьбы против ревизионистов, развернувшейся в тот период в Палестине. Положения этой статьи цитируются и обсуждаются до сих пор.

Жаботинский привык думать обо всем и обо всех, но не о себе самом. Его материальное положение было далеко не блестящим. Бывали дни, когда у него в кармане не было ни копейки.

Помню, однажды, в Париже, я пригласил его с женой на обед. В тускло освещенном зале ночного клуба было много красивых женщин. Жаботинский загляделся на ослепительную длинноволосую блондинку. "Кто это?" — спросил он меня. Я, не моргнув глазом и сохраняя серьезнейшее выражение лица, ответил: "Дочь тельзерского раввина". Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на свою жену и спросил: "Это правда?" Тут он понял, что его разыграли и засмеялся. Долго он не мог простить мне этой шутки.

Помню, как мы встретились в Катовице, где руководство движения собралось, чтобы обсудить его неизбежный разрыв с Мейером Гроссманом. Мы знали, что нам предстоит выбрать, за кем из двух лидеров пойти. Это был вопрос, подобный вопросу о том, кого человек больше любит — отца или мать. Оба были бесконечно дороги для нас. Однако между ними образовались серьезные разногласия. Назревал разрыв. Голосование проводилось поздно ночью. Все присутствовавшие ощущали сильное нервное напряжение и неуверенность в себе. После голосо-

ния выяснилось, что подавляющее большинство стало на сторону Жаботинского. Невыразимо больно было смотреть, как Гроссман покидал зал, окруженный самыми близкими друзьями. Мы все были друзьями и остались друзьями даже после того, как наши дороги разошлись.

Будучи другом Жаботинского, я вступил в Ревизионистскую партию в 1928 году (сразу же после ее создания) и со временем стал председателем польского отдела этой партии. В Исполнительный комитет польской организации партии входили такие известные общественные деятели, как писатель Яков Каган, г-н Куценок, д-р Дралич и другие. Долгие годы я представлял движение в Исполнительном комитете Сионистской организации. Позднее я узнал, что мое членство в Исполнительном комитете было одной из причин, по которым меня арестовали большевики.

## РУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАЛЕСТИНЕ

В 1911 году Центральный комитет Российской Сионистской организации решил послать делегацию в Палестину. Насколько мне известно среди членов делегации были Хаим Нахман Бялик, Борис и Исаак Гольдберги, Гиллель Златопольский и мой отец. Отец взял с собой в путешествие моего брата Муню. Муне тогда было шестнадцать лет. Дорога делегатов лежала через Италию, откуда они отправились в Палестину морем. В Яффском порту делегаты из России были высажены на берег из лодок, подобравших их на рейде и доставивших на пристань по штормовому морю.

Отец рассказывал мне о своем первом посещении Тель-Авива. Город тогда насчитывал не более четы-

рех улиц, существовавших частично только в воображении архитекторов. Он рассказывал о гимназии "Герцлия", центре жизни в городе, о первом мэре, Меире Дизенгофе, ежедневно объезжавшем свои "владения" на белом коне.

Жители Тель-Авива были, в основном, выходцами из России, большей частью — из Одессы, с Украины и из Центральной России. На улицах слышалась странная смесь русского и иврита.

Поездка из центра города к морю была всегда чревата неожиданными и малоприятными приключениями. Между городом и морем простирались безлюдные песчаные дюны. Ездить к морю было опасно: дорога отнимала не менее двух часов, а на берегу часто высаживались со своих рыбацких лодок арабы.

Жизнь в Тель-Авиве в те первые романтические времена была, вполне возможно, интереснее, чем в сегодняшнем метрополисе, полном небоскребов и автомобилей.

Делегация провела в стране около месяца. Во время пребывания в Палестине Борис Гольдберг и мой отец искали возможности купить Эмек Исраэль, долину между Назаретом и Хайфой, за 40 тысяч золотых рублей. По турецким законам евреям земля не продавалась. Известный турецкий адвокат предложил будущим покупателям свои услуги: он обещал поехать в Константинополь и раздобыть там специальное разрешение на выдачу "кушана" — купчей. Покупатели внесли задаток в десять тысяч золотых рублей на счет в Скандинавском банке. Остаток суммы следовало заплатить по заключении сделки. По контракту на сделку отводилось двенадцать месяцев срока. Этого времени не хватило адвокату, чтобы получить кушан, и через полтора года деньги были возвращены Борису Гольдбергу и моему отцу.

Второе и последнее свое путешествие в Палестину

отец совершил в 1925 году, когда он посетил открытие Еврейского университета в Иерусалиме.

Муля, очень способный мальчик, стал по возвращении из Палестины писать неплохие стихи. Одну из трех синих тетрадей, в которых он записывал свои стихи, прочел сам Бялик, высоко оценив поэзию моего брата. Я помню стихотворение, в котором Муля описывал лунную ночь на Храмовой горе и тени на Западной стене храма. Окончив с золотой медалью реальное училище, Муля уехал в Петербург, где поступил в Лесной институт, на отделение экономики и права.

## ГИМНАЗИЯ

Когда мне исполнилось восемь лет, меня начали готовить к поступлению в гимназию. Поступление в гимназию было крайне нелегким делом для еврейского мальчика. Судите сами: в две вильненские гимназии принимали в год ровно восемь евреев (еврейское население города, кстати, составляло в ту пору восемьдесят тысяч человек). Конкурс был жестоким.

Девятилетний еврейский мальчик шел на вступительные экзамены с запасом знаний, значительно превосходившим требовавшийся от их ровесников-неевреев. Он должен был быть готов к любым неожиданностям, к любым вопросам, даже к тем, что ему будут задавать с единственной целью — "засыпать" его. Чтобы подготовиться к экзаменам, нужно было целый год настойчиво учиться. Но не менее важным фактором, чем успешная сдача экзаменов, была при поступлении в гимназию протекция. Знакомство с директором гимназии, например, было крайне полезным.

Так наступило и мое время. Из 23 кандидатов-ев-

реев, стремившихся попасть в ту же гимназию, что и я, гимназистами могли стать лишь четверо. Экзамены проводились по русскому языку (устно и письменно) и по арифметике (тоже устно и письменно). Необходимо было получить четыре пятерки. Иначе о приеме в гимназию не могло быть и речи.

Попробуйте на минуту представить себе чувства девятилетнего мальчика, который идет на экзамен, зная, что ему будут задавать особенно трудные вопросы, на многие из которых и восемнадцатилетний не смог бы сразу ответить. После экзаменов директору гимназии предстояло выбрать четырех мальчиков из всех, кто каким-то чудом сдаст все экзамены на "отлично".

Я получил две пятерки. Третьим экзаменом был русский устный. Помню, что последний вопрос, заданный мне экзаменатором, был такой: "Приведи пример перехода "з" в "ж" в русском языке". Недолго думая, как по наитию, я ответил: "Господин учитель. Вы хотите меня срезать, но вы меня не срежете!" Так я получил третью пятерку. Последним экзаменом была устная арифметика. Помню, я вошел в класс, где проводился экзамен и увидел сидящего за столом учителя. У него была окладистая черная борода. Его улыбка показалась мне кровожадной. Он как бы думал: "Ага! Сейчас я этого еврейчика съем!" Время от времени он облизывал губы. После нескольких вопросов, на которые я незамедлительно отвечал, он сказал: "Ну, хорошо. Ты получил уже три пятерки. Если ответишь на вопрос, который я тебе сейчас задам, то, значит, сдашь и четвертый экзамен. Знаешь ли ты, сколько половин в пятидесяти?" Я представил себе пятьдесят яблок и ответил: "Сто". "Нет, — сказала черная борода, — неверно". Мой мозг лихорадочно работал. Я знал, что должен найти правильный ответ. Я подумал, что если пятьдесят принять за единицу, то тогда в пятидесяти будет только



две половины. Я сказал об этом учителю, но он сказал, что и этот ответ неправильный, поставил мне двойку и вызвал следующего экзаменуемого. Меня не приняли в гимназию. Год жизни был потерян.

Много воды утекло с той поры, но и сейчас я иногда задаю себе этот вопрос: сколько же половин в пятидесяти?

После того, как я успешно закончил Высшую Техническую школу в Берлине, я спросил как-то у своего профессора высшей математики Александра Гаммеля: "Не смогли бы Вы мне сказать, сколько половин в пятидесяти?" Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего: "Что это вдруг Вы задаете мне столь странный вопрос?" Я пообещал все объяснить потом, и профессор Гаммель сказал: "Сто". После того, как я сказал: "неверно", он замялся и сказал: "Ну, может быть, две, смотря, как понимать пятьдесят".

Через год, когда мне было десять лет, я, уже зная, что меня ожидает, занялся теософией, каббалой, изучением движения звезд и бог знает чем еще. Я выдержал экзамены и был принят в Его Императорского Величества Александра Первого "Благословенного" Вильненскую Гимназию. Официальное уведомление о том, что я принят в гимназию, мы получили по почте чудесным июньским днем.

В России гимназисты носили форму — черную гимнастерку и брюки, длинную серую шинель и темносинюю форменную фуражку. Мать была тогда за границей. Отец побежал со мной в магазин и тут же купил гимназическую форму. И в следующую же субботу я демонстрировал форму знакомым и родственникам. Происходило это в жаркий летний день в дачной местности Погулянка, где стояла и наша дача. Отец настоял на том, чтобы я надел и шинель, и фуражку и, переходя

из дома в дом, представлял меня как нового гимназиста. Он не обращал никакого внимания на то, что мне было невыносимо жарко!

Как каждому еврейскому ребенку-гимназисту, мне предстояло заниматься и музыкой. Состоялась оживленная семейная дискуссия по поводу того, на каком инструменте я буду играть — на фортепиано или на скрипке. Большинство голосов было решено, что я начну учиться игре на скрипке. Совещание это состоялось в четверг вечером, а уже в пятницу утром я стал приставать к матери, что пора уже купить мне инструмент. Мать пыталась объяснить мне, что на дворе — пятница, что у нее нет времени для этого — ведь надо подготовиться к субботе. Но я не успокаивался. Мне очень хотелось подержать в руках собственную скрипку. Так что скрипка была куплена — и с тех пор меня называли не иначе, как "фиделе фрейтаг банахт" — "скрипка в пятницу вечером".

Дела с обучением музыке пошли у меня неважно. Я был близорук и не мог читать ноты. А очки надевать отказывался. Так что через год мои родители с большим сожалением пришли к выводу, что Яши Хейфеца из меня не получится.

## ШУЛЬХОФ\*

Мой дядя Азриэль, банкир, был очень музыкален. Он был габбаем вильненской синагоги, в которой когда-то молился сам Вильненский Гаон. В обязанности дяди Азриэля входило выбирать канторов для старой синагоги. Было известно, что после "стажировки" в старой вильненской синагоге кантор мог рассчитывать на очень выгодный контракт с одной

---

\* Синагогальный двор.

из синагог в Америке. Так что синагога в Вильно служила для молодых канторов своего рода трамплином. Многие из великих канторов двадцатого столетия начинали свой путь в нашей синагоге. Среди прочих главными канторами в ней были Сирота, Гиршман, Кусевицкий и Ройтман.

Синагога стояла в Шульхофе ("синагогальном дворе"), в котором было не менее двадцати синагог и "штиблех" молитвенных помещений, где евреи изучали талмуд и тору. Там всегда было полно народа — евреи учились, спорили, рассуждали.

Скамья, на которой сидел в свое время Вильненский Гаон, стояла в синагоге слева от амвона. После его смерти этой скамьей не пользовались, на ней в память о нем был установлен большой серый камень. Рядом стояла скамья нашей семьи. На пюпитре для молитвенника была прикреплена небольшая медная табличка, на которой было выгравировано: "Меир бен реб Яков Шескин". Это было место моего деда. Но поскольку меня тоже звали Меир бен Яков, то по традиции я имел право сидеть на месте своего деда. Традиция гласила, что место сохраняется за обладателем имени.

# **РЕВОЛЮЦИЯ. СКИТАНИЯ**

## РЕВОЛЮЦИЯ

В 1914 году началась мировая война. В Вильну стали прибывать беженцы с запада. Наша семья решила, в свою очередь, перебраться в Петербург. Мы сняли очень удобную квартиру на Семеновской улице, неподалеку от знаменитого цирка Чинизелли на набережной Фонтанки. Как беженец, я был сразу же принят в Двенадцатую гимназию, расположенную на Невском проспекте, в нескольких кварталах от нашего дома.

Младший брат моего отца, Иосиф, тоже переехал со своей семьей в Петербург. Дядя Азриэль остался в Вильно, чтобы и во время немецкой оккупации присматривать за нашей фабрикой и другим, оставленным в Вильно, имуществом.

Сестры мои выросли в красивых девушек. Женя училась в университете, а Юля еще в гимназии. Первые годы нашей жизни в Петербурге прошли без особых происшествий. Дни мои проходили в учебе, посещениях Александринки и Мариинки, музеев и библиотек.

Наступила зима 1917 года. 22 февраля петроградские домохозяйки, голодные и негодующие, начали грабить пекарни и продовольственные магазины. Среди них выделялись солдатские жены. 23 февраля демонстрации приобрели размах, наверняка ошеломивший даже самих организаторов. Процессия за процессией проходили по улицам с криками "хлеба!" и "долой самодержавие!" Этот последний лозунг был подхвачен массами. Около четверти рабочих

столицы бастовало. На следующий день бастовало уже около двухсот тысяч рабочих, больше половины заводов Петрограда остановилось. Царь Николай Второй уехал из столицы, направляясь в Ставку в Могилев. В то же время молодой адвокат Александр Керенский повел неистовую атаку против царского правительства.

25 февраля забастовка стала всеобщей. К рабочим присоединились студенты. Не выходили газеты. Остановился городской транспорт. Петроград выглядел городом на осадном положении. Однако, еще не была ясна позиция армии. От настроений солдат зависела судьба России.

Гимназии работали как обычно. Помню, как я стоял у окна нашего класса, выходящего на Невский. Подо мной был Аничков мост, с знаменитыми клодтовскими конями. Я увидел, как мост оцепили казаки и как они двинулись навстречу приближавшейся демонстрации. Толпа надвигалась под пение революционных песен. Тут и там виднелись красные флаги. На некотором расстоянии от казачьего строя демонстрация остановилась. После небольшой заминки от толпы демонстрантов отделилась фигура молодого рабочего. Без шапки, с развевающимися волосами, он твердыми шагами направился прямо на выстроившихся казаков. Толпа замерла. Рабочий шел и на ходу говорил что-то — мне не было слышно его слов — обращаясь к казакам. А те, казалось, ждали только приказа офицера, сидевшего на лошади с обнаженной шашкой, чтобы начать стрелять в толпу и разгонять ее с помощью нагаек и сабель. Все смотрели на казачьего офицера: отдаст он или не отдаст приказ стрелять. А рабочий подходил все ближе и ближе. И не переставал что-то говорить. И вдруг случилось чудо: спешившиеся было стрелки вскочили в седла, казаки развернулись в своем строю и — возглавили процессию. Толпа взорвалась

криками радости. "Ура!" и пение "Марсельезы" были слышны, наверно во всех концах России. Офицер вложил шашку в ножны и молча наблюдал, как казаки, а за ними — тысячи рабочих и студентов шли навстречу революции. Я выбежал на улицу. В глазах проходивших мимо меня людей я видел огромную радость. Кто-то крикнул: "Армия с нами!"

3 апреля 1917 года в Петроград прибыл Ленин. Знаменитый Финляндский вокзал находился недалеко от нашего дома, и я, шестнадцатилетний гимназист, отправился в тот день, в пять часов вечера, на митинг, посвященный встрече Ленина.

Большевики изо всех сил старались превратить приезд Ленина в демонстрацию народного энтузиазма. Массу рабочих специально привезли по такому поводу в столицу. Море красных знамен, факелов, огни фар броневиков и духовой оркестр превратили тот вечер в бурю красок и звуков. Я увидел, как Ленин спустился по ступенькам вагона на перрон, как Чхеидзе приветствовал его от имени петроградского Совета и вручил ему огромный букет цветов. Ленин был в темном костюме, красном галстуке и круглой шляпе. Он сказал тогда всего несколько слов. Он был явно не готов к столь пышному приему. Позднее я узнал, что он был отличным оратором. Он умел расчленить любой самый трудный вопрос на несколько простых и мощно и энергично вбивал свои положения в головы слушающих до тех пор, пока все они не заражались его энтузиазмом. В тот день Ленин начал свою речь словами: "Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие!" И закончил словами: "Да здравствует мировая социалистическая революция!" Во главе триумфальной процессии он направился ко дворцу Кшесинской (балерины, фаворитки царя Николая), где располагалась большевистская штаб-квартира.

Начавшийся в марте революционный праздник

наэлектризовал всю Россию. Мы, учащиеся гимназий, создали Организацию Средних учебных заведений, ОСУЗ. Помню, как, переходя из гимназии в гимназию, мы развешивали объявления о Первой конференции гимназистов столицы. На конференцию, состоявшуюся в актовом зале Тенишевского училища, пришло около 600 человек. Зал был набит битком. У нас не было никакого опыта в ведении таких больших собраний, но мне кажется, что мы отлично с этим справились. После короткого вступительного слова был избран Исполнительный комитет новой организации. В него вошло семь человек, представлявших наиболее известные гимназии. Единственную девушку в комитете звали Верой. Она была очень красива, блондинка с большими зелеными глазами, и вела себя, как прирожденный вождь, а ведь ей было всего семнадцать лет. Я уверен, что не только члены комитета, но и все делегаты конференции восхищались ею. Меня избрали председателем исполнительного комитета. Мы подготовили программу обучения учащейся молодежи истории русской революции. Шла речь и об участии в работе молодежных организаций различных политических партий, существовавших в тот год в России.

В то время из Швейцарии в Россию вернулся "отец русского марксизма" Георгий Валентинович Плеханов. Он долгие годы жил в эмиграции в Женеве, где еще в 1883 году сформировал первую русскую марксистскую группу "Освобождение труда". Соратниками Плеханова были такие известные русские социалисты, как Вера Засулич, Павел Аксельрод, Вера Фигнер, Леонид Дейч, Е. Н. Брешко-Брешковская и другие.

В мае 1917 года, в России, Плеханов организовал социал-демократическую группу "Единство", членами которой были многие видные революционеры. Плеханов крайне отрицательно относился в этот



период к Ленину и не раз говорил, что то, к чему Ленин призывает — это "бред сумасшедшего". Он предупреждал о большевистской опасности и о возможности мировой катастрофы, если ленинские идеи овладеют народными массами.

В каждой политической партии был молодежный отдел. Не была исключением и группа "Единство". Мы с друзьями стали сотрудниками этого отдела. Раз в неделю мы встречались в штаб-квартире группы "Единство", в скромном помещении в одном из домов на Литейном проспекте. Мы распределяли обязанности: распространение литературы, расклейку афиш и помощь в организации митингов.

Плеханов вернулся в Россию уже очень больным человеком и выступал редко. Но каждый митинг с его участием был большим событием в Петрограде. Его приглашали участвовать в правительстве, но он отказался, предпочитая заниматься своей научной теоретической деятельностью. Весной—летом 1917 года он плодотворно работал, написал целый ряд статей и брошюр, которые мы и распространяли с неизменным успехом на улицах Петрограда. В середине лета 1917 года Плеханов умер от разрыва сердца. Невский был запружен людьми, пришедшими проводить его в последний путь. Гроб Плеханова несли на плечах рабочие. Звучал Траурный марш Шопена и революционные песни. Над толпой колыхались красные флаги с черным крепом. Все это рисовало картину преданности и любви масс к старейшине русских социалистов. Мы, молодые члены "Единства" несли венки и помогали поддерживать порядок вокруг гроба Плеханова.

Как член молодежного движения, я был прикомандирован к Одиннадцатому полицейскому участку, где я дежурил четыре раза в неделю с трех до шести, выполняя, среди прочих обязанностей и работу курьера. Мне выдали белую нарукавную повязку

с красными буквами "ПСС" — Полицейская служба связи. Эта повязка давала право заходить в трамвай с передней, а не с задней площадки, что само по себе было в те годы немалой привилегией в Петрограде, и ехать без билета. Народ толпился в очереди. Я же спокойно проходил к передней двери трамвая, небрежно оглядывая очередь. Я был очень горд собой. Я был частью революции, а революция — частью моего существования.

## ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СИОНИСТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Впридачу ко всем этим социал-демократическим занятиям, у меня была еще одна функция — я был членом "Гехавера", молодежной сионистской организации, возглавляемой Алейниковым, Идельсоном, Евзеровым и другими. Мы готовились к Первому Конгрессу русских сионистов, который и состоялся осенью 1917 года в Петрограде, в помещении театра музыкальной драмы на Невском.

Это была незабываемая демонстрация свободы и радости. Сотни евреев со всех концов России прошли под бело-голубыми знаменами по Невскому, направляясь к театру. На съезде я был среди дежурных у стола президиума. Здесь я увидел членов президиума д-ра Лео Моцкина и д-ра Иехиэля Членова из Москвы и всех остальных лидеров русского сионистского движения.

В первом ряду в зале сидели мой отец с Муней, братья Гольдберги и Александр Алейников. Моим специальным заданием было каждые два часа приносить д-ру Членову стакан горячего молока — Членов страдал язвой желудка. Как только он заканчивал один стакан молока, я сразу же мчался наполнять следующий.

Я не помню деталей этой конференции, но два момента запечатлелись в моей памяти. Первый — когда Златопольский, Найдич, Борис Гольдберг и мой отец вышли в конце одного из заседаний на сцену и Борис Гольдберг зачитал только что полученную из Лондона телеграмму, в которой сообщалось о декларации Бальфура. МЕЧТА СТАНОВИЛАСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ! Наконец Палестина была признана еврейским национальным очагом. Вряд ли кто-либо ожидал такого известия. Шла война, и депеши из Лондона приходили крайне нерегулярно. Гольдберг зачитал также телеграмму министра иностранных дел П. Н. Милюкова, который посылал наилучшие пожелания делегатам конференции от имени русского правительства и русского народа.

Делегаты, взволнованные новостями, вскочили со своих мест и стали вести себя буквально, как дети: кричали, плакали, целовались, пели. На следующий день, последний день конференции, заседание проходило в Народном доме. Перед закрытием последнего заседания знаменитая еврейская певица Анна Мейчик пропела молитву "Эли, Эли, лама азавтейну" (Господи, о Господи, почему ты оставил нас?). А вторым номером в концерте выступил царь певцов Федор Шаляпин. Он был высокий и широкоплечий, одет был в черный костюм. Его не нужно было представлять публике. Зрители смотрели на него, как загипнотизированные. И тут Шаляпин запел "Гатикву". В зале все встали, слезы полились из глаз делегатов. Это была "Гатиква" моей жизни! Не только гимн надежды, но и символ возрождения еврейского духа. Шаляпин пел наш гимн на иврите, с прекрасным древнееврейским произношением. Своим голосом он говорил нам, что надежда не потеряна, что будущее наше прекрасно. Оглушительно аплодируя, люди не давали Шаляпину уйти со сцены. Когда он закончил петь, зрители хоте-

ли просто видеть его, знать, что Шаляпин с нами. Много лет спустя я слышал Шаляпина в Метрополитэн Опера в Нью-Йорке в "Борисе Годунове", "Фаусте" и других замечательных операх. Но никогда, никогда не пел он так взволнованно, как в ту ночь в Народном доме.

## ПЕТРОГРАДСКИЕ ДНИ

Жизнь в Петрограде была ключом. Театры были открыты и представления давались каждый день, включая воскресенье. Карсавина выступала в новом балете, и все бежали в Мариинку посмотреть на ее искусство. Царь певцов Шаляпин пел в Народном доме. В Александрийском театре была возобновлена мейерхольдовская постановка "Смерть Иоанна Грозного" А. К. Толстого.

На заводах и фабриках в рабочих комитетах стояли в козлах винтовки, посыльные сновали взад и вперед, шли учения Красной гвардии, деятельность не прекращалась ни на минуту. На улицах было постоянно полно народу. Людские волны текли по Невскому.

Стало опасно ходить переулками — участились уличные ограбления. В открытых ночь напролет казино шампанское лилось рекой и ставки измерялись тысячами рублей. В Смольном не улыбочивые часовые требовали пропуска у желающих войти в здание Петросовета. В его комитетах жизнь бурлила 24 часа в сутки. В актовом зале проводились шумные сессии Совета. Солдаты и рабочие спали тут же, на полу. По вечерам ярко освещенные переполненные кафе были царством проституток в бриллиантах и дорогих мехах. Холодные ветры и дожди, срывавшиеся с серого неба, гнали город вперед все быстрее и быстрее.

Большевистские газеты открыто обсуждали вопрос о военном перевороте. Большевики жаждали власти. В правительстве опасались действий большевиков. Но, в то же время, ситуация казалась достаточно стабильной. Трудно было поверить, что новые потрясения наступят в России так скоро!

Всего за несколько дней до большевистского переворота Керенский публично высказывал свою уверенность в том, что ему удастся легко сокрушить любое большевистское выступление. Выступая на большом митинге в цирке Чинизелли, он сказал даже, что мечтает о возможности продемонстрировать это всему миру.

Утром накануне восстания правительство отдало приказ капитану крейсера "Аврора", стоявшему на якоре в опасной близости от Зимнего дворца, отправиться в тренировочное плавание по Балтике. Ко дворцу были стянуты несколько рот юнкеров, казачьих сотен и женский батальон. Этими скудными силами могло располагать в столице Временное правительство. И вдруг во дворце замолчали телефоны... Мосты через Неву были разведены, чтобы воспрепятствовать притоку в центр города рабочих с Петроградской стороны и других окраин. 24 октября 1917 года центральный комитет большевиков разработал последние детали восстания.

В 3.30 утра 25 октября "Аврора" вернулась в Неву и бросила якорь у Николаевского моста. К рассвету в Неву вошла небольшая эскадра торпедных катеров. В 6 часов утра по приказу военно-революционного комитета Красная гвардия заняла Государственный банк, Центральный телеграф и телефонную станцию. Телефоны Зимнего дворца и Генерального штаба были немедленно отсоединены.

Примерно в это же время Керенский, после ряда безуспешных попыток мобилизовать воинские части на выступление против большевиков, бежал из дворца

в автомобиле, реквизированном в американском посольстве. Военно-революционный комитет выпустил прокламацию, в которой провозгласил свержение Временного правительства.

Председателем революционного комитета крейсера "Аврора" был Федор Баткин, еврей из Крыма. Я не раз встречался с ним на Дворцовой площади или на набережной. Высокий загорелый матрос был всегда окружен толпой народа. Меня он всегда величал в шутку "господин городской". В одну из наших коротких встреч он сказал мне: "Все. Никаких погромов! Евреи теперь будут жить в России, как в Палестине!" Он не имел никакого представления ни о Палестине, ни о сионизме, ни о еврейской общественной жизни. Он знал только, что при царе евреев преследовали черносотенцы, которых полностью поддерживало правительство. "С Черной сотней мы покончили!" — сказал он мне однажды. Я рассказал ему о сионистских идеях, о еврейской мечте жить в своем собственном государстве. "Еврейское государство? — переспросил он. — Неплохая мысль. Может быть, это самое лучшее решение — перевезти всех русских евреев в Палестину — и к черту Черную сотню!" В 1921 году я узнал из газет, что он был расстрелян чекистами. Я склоняю голову перед тенью матроса Федора Баткина.

Площадь перед Зимним дворцом была центром революции. На ней в любое время дня можно было увидеть сотни людей — рабочих, солдат, матросов, студентов, горожан. Велись бесконечные митинги. Люди рассуждали, спорили, агитировали. Что ждет всех нас завтра? Вернется ли Керенский с обещанной им армией? Расстреляют ли арестованных министров Временного правительства сразу или они предстанут перед Ревтрибуналом? О чем говорил вчера Ленин с балкона Дворца Кшесинской? Будет ли подписан мир с Германией?

## ЛЕОНИД КАНЕГИССЕР

Вскоре после октябрьского переворота была организована Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, ЧК, в руках которой были собраны все нити тогдашней общественной жизни. Офицеров царской армии арестовывали и расстреливали без суда и следствия. Всех "буржуев" поражали в правах и всячески преследовали. Русскую интеллигенцию — ученых, литераторов, людей свободных профессий — методически уничтожали. В Петрограде репрессиями ведал начальник Петрочека Моисей Урицкий, человек, которого ненавидел и страшился весь город. Для русских он был символом еврея, попирающего Россию. Евреи же справедливо полагали, что за преступления этого человека все они в свое время дорого заплатят. Архипелаг ГУЛаг в то время только зарождался. Вместо того, чтобы отправлять людей в лагеря, их убивали в тюрьмах, да и просто — на каждом углу.

У моего брата Муни был друг — тихий еврейский юноша по имени Леонид Канегиссер. Он жил в соседнем с нами доме на Семеновской. Они познакомились в Лесном институте, где оба были тогда студентами. Леонид был замкнут и неразговорчив. Он оживлялся только, когда обсуждался вопрос о том, почему среди вождей русской революции так много евреев. (Действительно, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек и многие другие члены большевистского актива были евреями.)

Дождливым августовским утром 1918 года Леонид вывел из дому свой велосипед и поехал в сторону Зимнего Дворца. Дело было в субботу, и на улицах было много народу. В одном из домов неподалеку от Дворцовой площади располагалась Петрочека. Вход в здание охраняли чекисты и красногвардейцы.

Здесь, во втором этаже, была штаб-квартира Урицкого. Урицкий был молодой человек лет тридцати, отличный оратор. У него были горящие глаза религиозного фанатика. От росчерка его пера зависели судьбы сотен людей. Бестрепетной рукой подписывал он бесчисленные смертные приговоры, которые немедленно приводились в исполнение.

Леонид прислонил свой велосипед к стене дома и поднялся по ступенькам. Был он в своей студенческой тужурке, может быть, поэтому охрана не задержала его и не потребовала пропуск или документы. Чекисты, видимо, решили, что он "свой". Леонид тем временем поднялся по лестнице на второй этаж, зашел в кабинет Урицкого и прежде, чем кто-либо из присутствующих понял, что происходит, несколько раз выстрелил в Урицкого из револьвера и убил его на месте. Рассказывали, что когда его схватили, он сказал: "Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю по капле пившего кровь русского народа. Я знал, что меня ожидает, но я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий — не еврей. Он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев". Леонида расстреляли тут же... Никому не известно, где находится его могила. Он был поэтом. Сборник его стихов вышел в 1928 году в Париже.

Уже к полудню Семеновская улица была оцеплена красногвардейцами. Вся семья Канегиссеров была арестована. В их квартире был проведен тщательный обыск — все было перевернуто вверх дном в поисках контрреволюционных бумаг и документов.

Евреи Петрограда передавали историю молодого Канегиссера из уст в уста. Чувства евреев были смешанными. Некоторые говорили, что теперь большевики станут еще настойчивее в своих преследованиях. Другие же утверждали, что Леонид спас еврейскую



честь, что его геройская акция показала всем, что евреи — гордый народ.

На крыльце дома № 11 по Семеновской улице, где жил Канегиссер, каждое утро лежали букеты цветов. Люди приносили цветы ночью, таясь от чекистов. Они хотели выразить так свое восхищение погибшим героем. Однажды я увидел на белом крыльце букет красных лилий. В другой раз — желтые и красные тюльпаны. Милиционеры аккуратно убрали цветы, но вскоре властям это надоело, и по улице ночью стали патрулировать чекисты.

Такова история короткой жизни Леонида Канегиссера. Мало осталось людей, знающих его историю. В советских источниках утверждается, что Урицкий был убит "белым офицером".

"Ишкадал веискадаш шмей раба".\*

## ПУТЬ К СВОБОДЕ

Обстановка в Петрограде становилась тревожной, и наша семья решила вернуться в Вильно. Благодаря своим связям с одним из иностранных посольств отец сумел переправить часть имущества за границу. К началу 1918 года мы уже были готовы к отъезду. И тут встал вопрос о драгоценностях матери. Мы знали, что в Орше, на тогдашней русско-польской границе, красные пограничники производили тщательный досмотр багажа отъезжающих за границу пассажиров. Долгое время мы размышляли, как провезти драгоценности. Мы советовались с опытными "контрабандистами", которые говорили нам, что лучше всего провозить драгоценности в куске масла. Масло тогда в России продавалось на развес.

---

\* Начальная строка еврейской поминальной молитвы "Кадиш".

Мы купили большую голову масла — фунтов в пять весом, и мать спрятала в масло свои бриллианты, жемчуга и другие камни, вынутые из оправ. Мы решили, что в то утро, когда прибудем в Оршу, мы все рассядемся вокруг стола в своем купе завтракать. Ничего удивительного, думали мы, не будет в том, что на столе будет лежать хлеб, масло, яйца, сыр.

В дороге кусок масла с "закопанными" в него драгоценностями неоднократно поворачивался и переворачивался. Кончилось это тем, что мы уже не могли определить, с какой стороны в нем спрятаны драгоценности! По прибытии в Оршу мы, как и собирались, расселись вокруг стола. Отец начал уже резать хлеб. Тут открылась дверь, и к нам в купе вошли пограничники, чтобы проверить наш багаж. Их было двое, оба молодые парни. Они посмотрели на нас, потом обвели глазами стены купе. Но задержались их взгляды — на масле! Один из них сказал: "Сразу видно, что вы — буржуи! Мои дети уже скоро год, как не видели масла". Тут он улыбнулся и сказал, обращаясь к матери: "Может быть, дадите мне немножко, для детей?" "Конечно, конечно, — ответила мать, — пожалуйста". И она протянула ему нож, чтобы он отрезал себе кусок. Трудно описать, что мы пережили в ту минуту. Красноармеец подошел к столу, запустил в масло палец, потом отправил палец в рот и замычал от удовольствия: "м-м-м, вкусно!" Мы были полумертвы от страха. А вдруг он сейчас обнаружит спрятанные бриллианты?! Ведь тогда и отца, и брата арестуют и скорее всего тут же расстреляют как контрабандистов. Красноармеец отрезал себе солидный кусок масла, завернул его в газету и, довольный своей добычей, вышел из купе, даже не посмотрев на наш багаж. Его товарищ вышел вслед за ним. Дверь за ними закрылась, а мы все сидели, боясь шевельнуться.

Все мы думали об одном и том же: вдруг солдат отрезал и унес вместе с маслом клад. Вдруг он обнаружит драгоценности и вернется, чтобы арестовать нас!

В страхе перед возможным возвращением пограничников мы просидели, не отводя глаз от головы масла все долгие два часа, которые поезд должен был стоять в Орше. Завтрак был, конечно, забыт. Мимо нас проходили составы, гремели паровозные гудки. Время тянулось томительно медленно. Я уверен, что родители ругали себя за то, что решили взять эти драгоценности с собой. Казалось, целая вечность прошла прежде, чем поезд тронулся. Он постепенно набирал скорость. Советская граница осталась позади. Мать взяла вилку и стала тыкать ею в голову масла. Она долго и в разных местах протыкала масло, но вилка не натыкалась ни на что твердое. Мы переглянулись, готовя себя к худшему. Но тут, буквально рядом с тем местом, где пограничник отрезал свой кусок, "клад" нашелся. Радость наша была велика, но я все же думаю, что все эти драгоценности не стоили нервов, потраченных нами на станции в Орше.

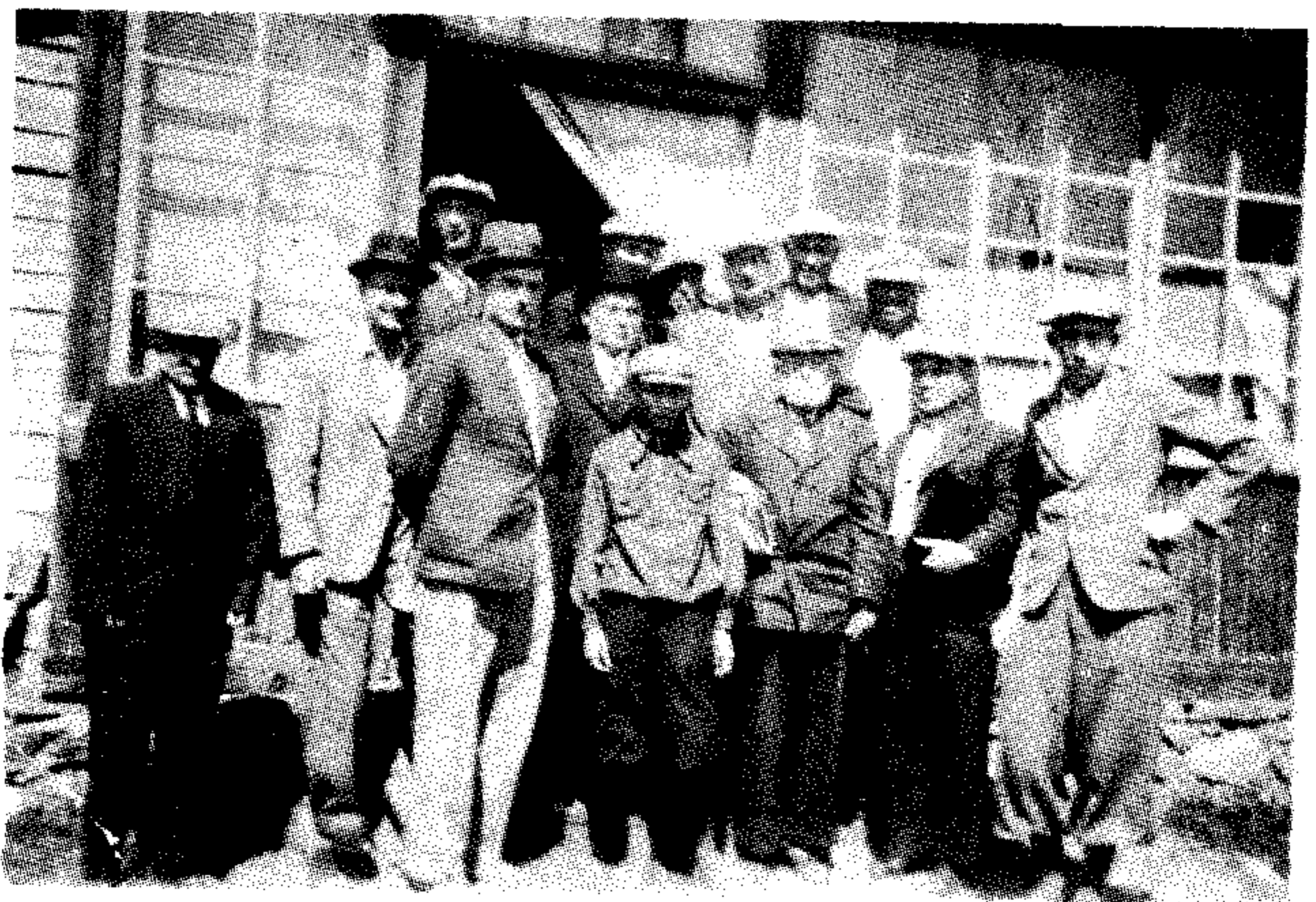
Вернувшись в Вильно, мы поселились в новой квартире, в доме напротив городского театра. Польские войска оккупировали Вильно и Пилсудский провозгласил там республику под названием "Литва сродкова" ("Средняя Литва"). Впрочем, через некоторое время эта республика была присоединена к Польше.

## БЕРЛИН

Мне было восемнадцать лет, когда я окончил гимназию. В семье стали выбирать для меня профес-



Старая синагога в Олькениках.



Рабочие фабрики в Олькениках



М. Шескин — командир "Брит Гахаял".



Парад "Брит гахаял" в Варшаве, 1933 год.



Президиум Ревизионистской конференции в Кракове, 1935 год  
3-й справа — З. Жаботинский, 4-й справа — М. Шески

НКВД СССР  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕЧОРСКОГО  
Железнодорожного  
Исправ. Труд. Лагерь

Отдел 2  
" 19 " IX 194 г.

№ 97012

пос. Абезь, Коми АССР.

<sup>20</sup>  
31 УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель гр-н \_\_\_\_\_

Шекин

Мирон

Яковлевич

" 1901. " года рождения, уроженец \_\_\_\_\_

г. Вильно

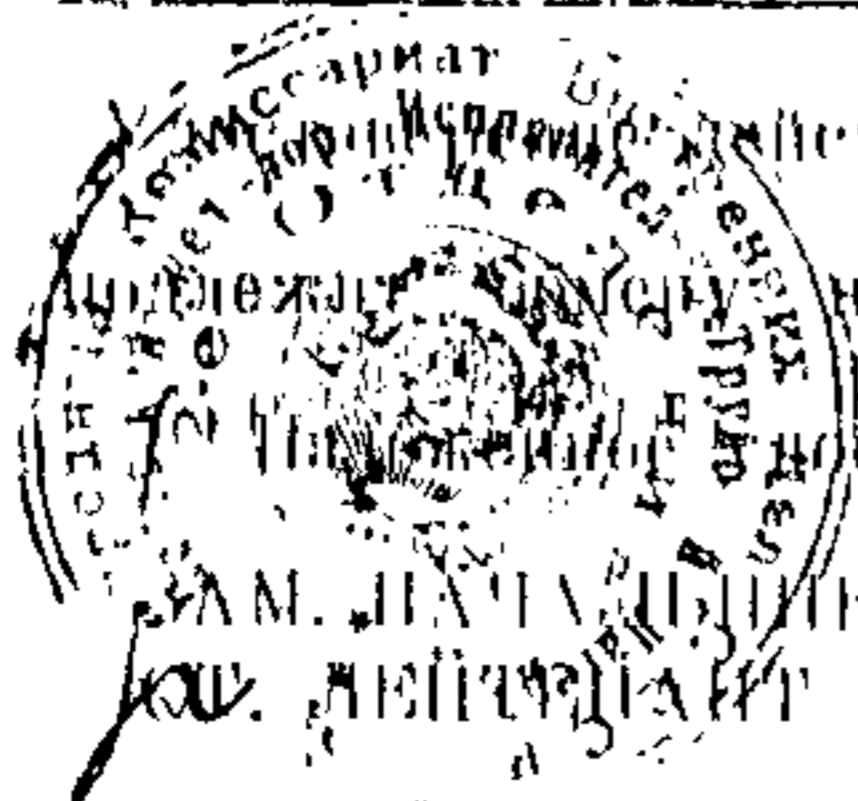
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР амнистирован, как польский гражданин и имеет право свободного проживания на территории СССР, за исключением запретных зон, местностей, объявленных на военном положении и режимных городов 1-й и 2-й категории.

При нем находятся члены семьи: нет

Гр-н Шекин Мирон Яковлевич

направляется к избранному им месту жительства:

г. Вузунок Ставров. обл.



действительно на 3 месяца с момента его выдачи и на паспорт.

Удостоверение подписано в приложении печати.

М. П. ПЕЧОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧОРСКОГО НКВД СССР  
НАЧ. ДЕПАРТАМЕНТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ГРАДШО)  
НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ 2 ОТДЕЛА (СТАРНОПОЛЬСКИЙ)

Certificate of release from the Russian Katorga.  
(Mord Lavash Camp)

Удостоверение об освобождении из лагеря.

Командование Первой  
Польской Армии

№ 556/42

Маргелан, кн. II. 1942 г.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ъ

Дана настоящая Начальником Штаба 9 Польской Дивизии  
военному инженеру Шескину Миросу в том, что ему доверяется  
от моего имени представлять интересы областной Команды  
Связи в Фергане по отношению 9 Польской Дивизии по вопросу  
уточнения связи между Штабом и отдельными частями, а также  
получить на руки все необходимые материалы и предметы для  
работы.



Начальник Штаба

Иванов  
Иванов

Документ периода Польской Армии в Фергане, 1942 год.



сию. Адвокат в семье уже был — Муня. Так что было решено, что мне предстоит стать инженером, чтобы управлять нашей фабрикой. Итак, мне предстояло учиться в техническом институте.

Осуществить это решение было не так просто. Ближайшая техническая школа с хорошим уровнем была в Германии, а пробраться из Вильно в Германию можно было только контрабандным путем через Литву, которая граничила с Восточной Пруссией. Между Польшей и Литвой не было дипломатических отношений. Я отправился в путь ночью на запряженной лошадью повозке, под присмотром настоящего контрабандиста. Мое семейство сопровождало меня до того самого места, где мне предстояло перебраться в телегу с сеном и спрятаться в стогу. Меня снабдили сотней узелков с едой. Я попрощался со своими, и мы с моим провожатым отправились в Кошедары, маленький городок на границе Литвы и Восточной Пруссии. Двое суток я провел в стогу сена. Наконец, граница оказалась позади, и я "появился на свет" в маленьком немецком городке.

По железной дороге я приехал в Берлин, где был принят в Высшую Техническую школу в Шарлоттенбурге (одну из лучших технических школ в мире), на отделение машиностроения.

Теперь на очереди было изучение немецкого языка. До начала семестра оставалось еще около четырех месяцев и я уехал в Хайнихен, в Саксонию, где начал заниматься немецким, делая упор на научную и техническую терминологию.

В Хайнихене было около двадцати тысяч жителей. Там была большая рыночная площадь, где по воскресеньям играл духовой оркестр, и барышни прогуливались в надежде найти жениха.

Через несколько месяцев я вернулся в Берлин и снял комнату на Моммзенштрассе, недалеко от школы. Хозяева мои были евреи. Школа была располо-

жена в большом здании, окруженном садом, в самом центре Шарлоттенбурга, возле станции метро "Am Zoo". Для меня Берлин стал центром мира, а центром Берлина была школа. Вокруг были красивые улицы, вроде Курфюрстендамм или Тауцинштрассе — с роскошными магазинами, шикарными кафе и кинотеатрами. По вечерам по ярко освещенным тротуарам прогуливалась элегантно одетая публика.

Чтобы получить диплом инженера, нужно было учиться не менее четырех лет. Чаще всего у студента уходило на получение диплома пять лет. Занятия в школе были построены так, что экзамены нужно было сдавать раз в два года. В конце курса обучения необходимо было представить дипломную работу.

Учиться в "Технише Хохшуде" было делом нелегким. Учебная нагрузка в школе была велика. Может быть, из-за перенапряжения, когда я готовился к своей первой экзаменационной сессии, у меня вдруг появился нервный тик: начали дрожать губы. Я обратился к врачу... Потом — к другому, к третьему... Но все они говорили мне, что не могут мне помочь и что мне следует обратиться к великому психиатру профессору Кассиреру (брату знаменитого историка искусств Пауля Кассирера), который, может быть, согласится провести со мной курс лечения гипнозом. Я несколько не сомневался в том, что профессор Кассирер не пустит меня на порог своего шикарного особняка в Тиргартене. Но, к моему удивлению, случилось иначе. Знаменитый психиатр сказал мне, что студент-медик, исполнявший обязанности его секретаря, уходит в трехмесячный отпуск, и что если я соглашусь замещать его, то получу бесплатный курс лечения. Я, конечно, согласился. Профессор Кассирер был широкоплечий и большерукий гигант около двух метров росту. Думаю, что ему не требовалось особых усилий, чтобы загипнотизировать меня: стоило

ему на меня посмотреть, — и меня уже клонило ко сну!

## ДИБУК

Однажды в приемную профессора Кассирера вошел старик-еврей с длинной бородой. Он едва говорил по-немецки. Я с трудом его понимал. Минут десять мне потребовалось только для того, чтобы выяснить, зачем он пришел. Оказывается, в его четырнадцатилетнего сына вселился дибук (дух) собаки. Мальчик передвигался только на четвереньках, ел не иначе, как из плошки на полу. Старик кричал: "Я хотел, чтобы сын у меня был талмид хахам! А теперь у меня вместо сына собака! Умоляю тебя, попроси профессора, чтобы он вылечил моего сына и изгнал из него этого дибука!" Я не знал, что делать. Записывать или не записывать мальчика-собаку на прием к профессору? Я решил спросить самого г-на Кассирера. Я зашел в его кабинет, предварительно постучав. Он поднял на меня глаза, и я сказал: "Профессор, видели ли Вы спектакль по знаменитой пьесе Анского "Дибук"?" Он ответил: "Да, я видел фильм. Но к чему Вы об этом спрашиваете?" Я рассказал, что в приемной сидит старик-еврей, в сына которого вселился дибук. Профессор Кассирер велел мне записать мальчика на прием.

Через три дня отец с сыном явились в назначенное время в приемную. Отец держал мальчика за руку. Войдя в приемную, Мотл, так звали беднягу, тут же опустился на колени и начал обнюхивать мебель и все углы в комнате. Когда Мотл с отцом вошли в кабинет профессора, мне было велено принести блюдо с молоком. Я поставил блюдо на пол, и Мотл сразу же вылакал молоко, издавая при этом странные неестественные звуки, похожие на подвы-

вание. Прошло не менее двадцати минут прежде, чем проф. Кассирер пришел в себя. Он заговорил с Мотлом на своем "хөхдойч". Я переводил его слова на "прост идиш".

— Мотл, — сказал профессор, — поднимись с пола и сядь рядом со мной. Мотл посмотрел на него непонимающими глазами и перебрался на четвереньках в самый дальний угол комнаты. Профессор Кассирер подошел к нему и снова сказал:

— Мотл, будь хорошим мальчиком. Встань и расскажи мне, что с тобой произошло.

Рассказал обо всем отец мальчика. Живут они с сыном, сказал он, в местечке недалеко от Ковно. Дом их окружен садом, и Мотл очень любил играть там со своими приятелями, когда возвращался из хедера. Но однажды, в лунную ночь, сад вдруг наполнился тенями людей и зверей (это были тени прохожих). Мимо пробежала большая собака, и ее тень упала на Мотла. Собака тут же исчезла. Вскрикнув, Мотл упал на колени и залаял. Ему почудилось, что он проглотил собаку. С тех пор мальчик стал собакой. Он перестал ходить в хедер. Дети перестали дружить с ним и стали дразнить его "дибуком".

Несколько месяцев потребовалось профессору Кассиреру, чтобы избавить Мотла от "дибука". Но, наконец, дибук покинул тело мальчика. Мотл выздоровел и отправился с отцом домой, в свое местечко.

В то же самое время профессор Кассирер лечил меня от тика. На одном из наших первых сеансов он сказал:

— Сейчас Вы уснете, а когда проснетесь — забудьте все о своем тике. Когда же Вы придете домой и усядетесь за свой письменный стол, Вы вспомните о нашем сеансе. Тогда позвоните мне по телефону. Через четверть часа он разбудил меня и отправил домой. Я напрочь забыл, где я был и что делал. Часа

через два, сидя у стола, я вдруг вспомнил про свой тик и о том, что мне нужно кому-то позвонить. Но кому? И зачем? Я подошел к телефону и позвонил профессору Кассиреру. Он сказал, что для начала это вполне недурно и что мы продолжим на следующий день.

Через несколько недель мой тик прошел, но почтительный страх перед выдающимися гипнотическими способностями профессора Кассирера остался у меня навсегда!

## УЧЕБА В БЕРЛИНЕ

Мне потребовалось пять лет, чтобы закончить Высшую Техническую Школу в Берлине. За время моего обучения там мне удалось прослушать один краткий специальный курс в Сорбонне, в Париже. Там я вновь встретился с моим братом Муней — это было в 1923 году, когда он учился в Париже. В тот год во французской столице проходила Всемирная выставка. Жизнь в Париже была исключительно интересной. Мы жили в Латинском квартале, в доме № 20 по Рю Кюжа, резиденции "Кики с Монпарнаса", неко-ронованной королевы Латинского квартала. Это был маленький отель, набитый приезжими из разных стран. Вечера мы с Муней чаще всего проводили на бульваре Сен-Мишель, гуляя по которому мы, в конце концов, обычно, приходили в "Куполь", где собирались тогда писатели и художники.

В Париже я провел около четырех месяцев. Прослушав летний курс политических наук, я вернулся в Берлин. Почти все мои силы уходили на занятия в Школе. Особенно много времени уходило на лабораторные работы. Очень трудно было выкроить свободный день или вечер, чтобы пойти в музей или

в театр. Но я все же не пропускал ни одного концерта Оркестра Берлинской филармонии, дирижером которого был знаменитый Артур Никиш. Королевой экрана была тогда Марлен Дитрих. Я до сих пор не могу забыть ее выступлений в знаменитом кабаре "Нельсон ревю".

Самым ответственным моментом в жизни студента Высшей Технической Школы была подготовка к выпускным экзаменам и защита дипломной работы. В год выпуска я работал над дипломной работой по станкам. Руководителем проекта был профессор Шлезингер. В тот год я посещал занятия на специальных курсах, где студентов готовили к сдаче выпускных экзаменов. Это был весьма напряженный период моей жизни. Тем сильнее было мое удовлетворение, когда я, преодолев все препятствия, получил диплом "Doktor-Ingeneer".

Через много лет я встретил профессора Шлезингера в Бельгии. Ему удалось эмигрировать из фашистской Германии. Живя в эмиграции, он любил встречаться со своими бывшими студентами и переживать заново славные годы Веймарской республики.

Курс физики студентам Высшей Технической Школы читал Альберт Эйнштейн. Не менее шестисот студентов собиралось по пятницам в огромной аудитории, где проходили лекции великого ученого. Я слушал этот курс в 1922 году, когда весь мир высказывался "за" и "против" теории относительности.

Эйнштейн был среднего роста, носил очки в стальной оправе. После часовой лекции он давал студентам пятнадцать минут на вопросы. Однажды один из студентов, член антисемитской организации (все его товарищи продевали в петлицы пиджаков разноцветные ленты, лица их были покрыты шрамами от ран, полученных на дуэли) с ухмылкой на лице спросил профессора Эйнштейна: "Простите, профессор, а всегда ли дважды два — четыре?" Все прия-

тели наглеца сразу же дружно захохотали. Эйнштейн ответил не сразу. Он поправил очки и сказал, мягко и тихо: "Нет, коллега, не всегда. Иногда это  $4 \frac{1}{8}$ , а иногда —  $3 \frac{7}{8}$ . Все зависит от того, в каких условиях производится операция умножения. Впрочем, иногда результат может быть равен и четырем".

С тех пор я уверился, что в этом мире нет ничего абсолютного. И в своей практической деятельности я всегда стремился не забывать, что дважды два — не всегда четыре.

## В США

Перед отъездом в США я приехал в Вильно, чтобы попрощаться с семьей. В Олькениках я провел три месяца, занимаясь применением своих новоприобретенных знаний для усовершенствования технологических процессов на фабрике. Время пролетело быстро. Настала пора прощаться. Я уехал из Вильно в Гамбург, где сел на пароход "Альберт Баллин", направлявшийся в Соединенные Штаты. В нью-йоркском порту меня встретили друзья. Это была очень радостная встреча. Я остановился в отеле и проводил время, осматривая достопримечательности Нью-Йорка.

Постепенно я стал думать о том, как организовать свою жизнь в Америке. Еще до начала занятий в Колумбийском университете я заключил контракт с фирмой Уордвелл и К<sup>о</sup> из города Карфаген, в штате Нью-Йорк. Фирма предложила мне должность инженера-консультанта — в Карфагене планировалось производство кожмита, подобного "шескинскому картону", выпускавшемуся олькеникской фабрикой. Для того, чтобы наладить производство этого материала, мне нужно было достать определенную смесь

сосны и других пород дерева, имевшихся в изобилии в Литве. Мне нужно было также построить специальную сушильную камеру для вывешивания листового готового кожмита. Я получал фантастическое жалование — 250 долларов в месяц — по тем временам целое состояние. Жить пришлось в Карфагене, маленьком городишке, центре бумажной промышленности. В городе не было ни одного еврея. Ближайшим большим городом был Уотертаун. По вечерам я обычно сидел в своем грязном отеле (лучшем в городе!), в компании коллег-инженеров и других обитателей этой гостиницы, которые сидели в глубоких креслах, жуя табак и сплевывая в урны, специально для этой цели расставленные возле каждого кресла.

Прожив в Карфагене три месяца, я вернулся в Нью-Йорк и поступил в Колумбийский университет на отделение экономических наук. Поселился я в "Интернэйшнл хаус" — "Международном доме" на Риверсайд драйв, 500. Это было красивое здание на берегу Гудзона, расположенное очень близко от университета. В нем жили студенты из 40 стран. В здании было два подъезда: один для женщин, другой для мужчин. Встречались же девушки и парни в чудесных холлах и кафетериях, или в саду.

Это было идеальное место для зарождения всевозможных дружб и привязанностей. Моим соседом по комнате был Педро Ривас из Гондураса. Позже я узнал, что он — сын президента этой республики. Мы много говорили о нашей прошлой жизни и будущем, и Педро все удивлялся, почему я не выбрал карьеру дипломата. Педро, я, Луиза из Санто-Доминго и Карменсита из Меделлина, что в Колумбии, проводили почти все свое свободное время вместе. По субботам мы ходили в далекие походы.

Я постепенно знакомился с американским образом жизни и находил его очень интересным и привлека-



тельным. Занятия были не слишком сложными — прямая противоположность Берлину. Студенты чувствовали себя гораздо свободнее, чем в Германии. Профессора обращались с нами, как с равными.

Как-то раз Педро сказал мне, что его отец приезжает с официальным визитом в США и пригласил меня поехать вместе с ним в Вашингтон. Я не помню, в каком отеле мы остановились тогда с Педро, но это заведение не уступало знаменитому лондонскому "Дорчестеру".

Его Превосходительство дон Мигуэль Гонзалес Ривас — Президент Гондураса — был выпускником Гарварда. Это был очень смуглый высокий человек, исключительно дружелюбный. После нашей второй или третьей встречи он пригласил меня в гости к себе в Тегусигальпу, столицу Гондураса. Я принял предложение, сказав, что еще не знаю, к сожалению, когда мне удастся это сделать. Впоследствии мы время от времени переписывались.

По окончании Колумбийского университета (я получил степень бакалавра экономических наук) я решил вернуться в Европу. Отец был болен, и мне нужно было взять в свои руки руководство фабрикой. Было это в 1930 году. Перед возвращением в Европу я был назначен Генеральным Консулом Гондураса в Польше. Эта должность автоматически давала мне титул консула еще нескольких центральноамериканских стран: Никарагуа, Коста-Рики, Сальвадора и Панама. Я был единственным евреем в дипломатическом корпусе Польши. Я припоминаю, что в еврейской ежедневной газете "Момент" была напечатана статья, озаглавленная "Ди мерквирдиге карьере фун а идише юнгерман" ("Интересная карьера молодого еврея"). После появления этой статьи меня пригласил к себе великий Герский раввин. В 1931 году я провел несколько волнующих часов в "хойфе" (дворе) раввина в Отвоцке.

По возвращении из Соединенных Штатов в Европу я провел несколько дней в Берлине, где был свидетелем растущей силы нацизма. Помню, как в синагоге на Фазаненштрассе было созвано по этому поводу конфиденциальное совещание. Я пришел туда с лордом Мельчеттом, крупным британским промышленником, и встретился с видными представителями еврейской общины Берлина. Когда я выступил на собрании и сказал, что на немецкое еврейство надвигается опасность, меня грубо прервал Председатель берлинской общины. Он сказал:

— Вы — ост-юде (восточный еврей), человек из гетто и останетесь жителем гетто, где бы вы ни были! Как смеете вы говорить об опасностях, подстерегающих евреев в Германии, в стране, которая дала миру таких великих евреев, как Гете, Баллин, Ратенау, Эйнштейн!

Лорд Мельчетт тщетно пытался объяснить президенту, что в глазах нацистов все евреи равны, и восточные, и западные. Вскоре после этого собрания синагога на Фазаненштрассе была сожжена нацистами.

Через много лет, уже в Израиле, я встретил как-то человека, лицо которого было мне знакомо, но я не мог вспомнить, где я его встречал. Он посмотрел на меня, назвал меня по имени и сказал:

— Я — д-р К., бывший председатель еврейской общины в Берлине. Вы вспоминаете нашу встречу?

Как я мог забыть эту встречу?! Он добавил: "Вы были правы тогда. Я прошу прощения у вас и лорда Мельчетта".

Это был один из тех случаев в моей жизни, когда сознание собственной правоты не принесло мне никакой радости.



**ПОЛЬША. "БРИТ ГАХАЯЛ"**

## КОНСУЛЬСТВО ГОНДУРАСА В ВАРШАВЕ

Шел 1932 год. Однажды утром знакомый еврейский журналист позвонил ко мне в консульство и сообщил, что необходимо организовать встречу с представителем небольшой группы ведущих еврейских интеллектуалов из Германии, которая только что прибыла в Варшаву.

Уже через два часа ко мне в кабинет вошел молодой человек по имени д-р Азриэль Карлбах (впоследствии — главный редактор "Маарива"). Д-р Карлбах сказал мне, что члены группы, которую он представляет, получили в Германии визы на кратковременный выезд в Польшу. Он просил меня помочь им достать выездные визы в какую-нибудь другую страну, иначе им придется вернуться в Германию, где их наверняка ожидают репрессии.

Задача была нелегкая, но я знал, что я должен помочь этим людям. Я связался с Посольством Гондураса в Париже и сообщил послу, что я хотел бы встретиться с ним в Париже в ближайшее время.

Д-ру Карлбаху я пообещал, что сделаю все возможное, чтобы предоставить ему и его друзьям гондурасское гражданство и что он может уверить членов своей группы, что ответ — положительный или отрицательный — будет получен через неделю.

Имя д-ра Карлбаха было знакомо мне уже давно, и я решил использовать все возможности для достижения этой цели.

В Париже я объяснил ситуацию послу. Мы обсудили этот вопрос как коллега с коллегой. Я убедил

его в том, что это будет акт гуманизма. На посла произвело сильное впечатление то, что я был знаком с президентом Ривасом и учился с его сыном в Колумбийском университете. Посол послал телеграмму в Министерство иностранных дел Гондураса, запрашивая разрешение на выдачу паспортов. Через три дня был получен положительный ответ, и посол немедленно заполнил паспорта по представленному мной списку (покидая Варшаву, я запасся необходимыми данными и фотографиями).

Посол Гондураса в Париже был гуманным и цивилизованным человеком. Он обещал достать еще пятьдесят паспортов для "неизвестных гондурасцев". Получив паспорта, я в тот же вечер выехал в Варшаву. По приезде я связался с д-ром Карлбахом, и вся его группа прибыла в консульство. Я торжественно вручил им паспорта и поздравил их с тем, что они стали гражданами маленькой центральноамериканской республики. С этими паспортами члены группы д-ра Карлбаха незамедлительно получили въездные визы в Швейцарию и Францию.

В сентябре 1939 года, когда началась война, я спешно уехал в Вильно. Консульство Гондураса осталось закрытым. Над Варшавой кружили фашистские самолеты. Мой гондурасский паспорт, выданный послом Гондураса в Париже, позволил мне беспрепятственно пробраться из Варшавы в Вильно.

После войны, путешествуя по миру, я не раз встречал евреев-граждан Гондураса, получивших свои паспорта от некоего поляка, который "оккупировал" гондурасское консульство в Варшаве после моего отъезда и продавал паспорта евреям за огромные деньги. Каждый был готов отдать все, чтобы спасти жизнь себе и своей семье, а такой паспорт давал его владельцу возможность избежать смерти в фашистском концентрационном лагере.

В 1953 году, в отеле "Плаза" в Буэнос-Айресе ко

мне подошел один еврей и, прежде чем я успел сказать ему хоть слово, стал целовать мне руку и говорить, что я спас жизнь ему, его жене и четверем сыновьям — в свое время он купил у того поляка гондурасские паспорта, часть из тех пятидесяти, что я заготовил впрок в Париже.

## БРИТ ГАХАЯЛ — СОЮЗ ЕВРЕЙСКИХ ВETERАНОВ ВОЙНЫ

В трагические годы возвышения Гитлера в Германии, примерно в то время, когда после убийства Арлозорова (идеологического противника Жаботинского) в еврейском мире началась ожесточенная борьба двух групп, ревизионистское движение вдруг неожиданно получило пополнение: в марте 1933 года в Польше была организована и быстро приобрела огромную популярность организация "Брит гахаял". Она стала важным фактором еврейской общественной жизни в Польше. Штаб-квартира этой организации располагалась в Варшаве на улице Граничной, 15. Членами этой организации были простые люди, которым до тех пор не находилось места в национальной борьбе за еврейское государство в Палестине. Это были плотники, портные, извозчики, водовозы и т. д., для которых "Брит гахаял" неожиданно стал важнейшим делом жизни. Сотни тысяч евреев в Польше не принадлежали ни к какой другой еврейской организации. Но у всех за плечами было общее прошлое — долголетняя служба в польской и русской царской армии. Это были солдаты и офицеры запаса.

В Жаботинском они видели мессию, который намеревается вести их в землю отцов. У этих "маленьких людей" вдруг появилась цель в жизни.

Буквально за один день название "Брит гахаял" стало известно всем. До тех пор большинство евреев считало, что от них не может быть никакой пользы Сионистскому движению. У них не было денег на пожертвования. Но вдруг сионистская идея приобрела для них новое значение.

В течение года движение сильно разрослось. Отделения "Брит гахаял" были основаны в Литве, Латвии, Австрии и Палестине. Куда бы не приезжал Зеев Жаботинский, огромные толпы уже ожидали его на железнодорожных станциях, сопровождали на все митинги, были готовы отдать за него жизнь.

Жаботинский настаивал на том, что эта организация должна быть построена на полувоенных началах. Я взялся за трудную организационную работу. Моим секретарем стал Давид Крол. Официально я занимал пост командующего силами "Брит гахаял" в Польше. Жаботинский был мацби (главнокомандующим), а Иермиягу Гальперин — сган-мацби (заместителем главнокомандующего).

Я посвятил много времени этой полувоенной организации, занимаясь учениями резервистов и устанавливая контакты с польским правительством.

Польские власти знали, что в наши планы входило при первой же возможности, с согласия правительства вывести в Палестину 40.000 солдат и, таким образом, создать ядро армии будущего еврейского государства. Я несколько раз встречался для переговоров по этому поводу с министром иностранных дел Польши полковником Юзефом Беком. С его помощью мы получили оружие — в достаточных количествах, чтобы проводить учения в разных уголках Польши.

Польская организация "Брит гахаял" насчитывала 40 тысяч членов. В воскресенье 29 октября 1933 года мы созвали конференцию польского отдела "Брит гахаял" в Варшаве. В этот день пять тысяч еврей-



ских резервистов (одетые в форму, подобную принятой в Британской армии) прошли маршем по центральным улицам Варшавы, с флагами и музыкой. Мне выпала честь возглавлять этот парад.

Поляки спрашивали друг друга: "Когда это английская армия успела прибыть сюда? Почему это евреи бросают солдатам цветы с балконов?" Это был первый раз, когда поляки увидели, что евреи могут маршировать, что они могут быть солдатами. Это был настоящий праздник. Маленькие дети, мальчики и девочки, пристраивались к колонне солдат с пением и плясками. Матери со слезами на глазах смотрели на "еврейскую армию". Мы направлялись на большой пустырь недалеко от центра города. Там солдаты стройными рядами окружили трибуну. Все ожидали прибытия Жаботинского из Парижа. Иермиягу Гальперин поехал встречать его на железнодорожный вокзал. Но поезд опаздывал, и мы решили начать парад без Жаботинского. Этот солнечный день был одним из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы были несказанно рады встретиться с друзьями со всех концов Польши. Мы испытывали чувство гордости, трудно объяснимое ощущение причастности к важному делу. Каждому придавало сил сознание того, что он — один из пяти тысяч единомышленников, собравшихся вместе. Громко играли оркестры, над толпой развевались по ветру флаги.

Затем мы прошли маршем через еврейские кварталы города. На этот раз во главе парада вместе со мной шли глава польского "Бейтара" Аарон Пропес и Иермиягу Гальперин. Мы прошли через Наливки и вдоль всех главных улиц еврейской части города. За нами следили тысячи глаз. На пути мы возложили венок к могиле Неизвестного польского солдата, где нас встретили и приветствовали офицеры Польского Генерального штаба.

В три часа пополудни в театре "Рекс" состоялась

большая конференция. Жаботинский, наконец, прибыл в Варшаву и Иермиягу Гальперин привез его в театр. Собравшиеся встретили Жаботинского бурей аплодисментов. Я приветствовал его от имени польской организации "Брит гахаял" и представил его солдатам. Вид еврейской армии произвел глубокое впечатление на Жаботинского, о чем он и сказал в первых словах своей речи. Жаботинский говорил о легионах и государстве Израиль. Он говорил на идиш. Тембр его голоса был низким. Слова его шли от самого сердца.

В семь часов вечера в театре "Новосци" состоялось праздничное представление театральной труппы "Еврейская банда". После пленарного заседания начали работу различные комитеты, в которых разрабатывались планы дальнейшей деятельности.

К 1939 году Главная Ставка "Брит гахаял" в Лондоне осуществляла руководство отделами организации в Италии, Австрии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Аргентине, Соединенных Штатах, Данциге, Чехословакии и Румынии. Официальным печатным органом "Брит гахаял" был "Ширьон", выходивший в Варшаве. Первый выпуск вышел в феврале 1934 года под редакцией Юзефа Хруста. На первой странице была помещена моя статья под названием "Наш праздник", а также статья Элиезера Шостака — ныне Министра здравоохранения государства Израиль.

В одном из своих информационных бюллетеней лондонская ставка сообщала о праздничном открытии "Бейт гахаял гаиври" (Дома еврейского солдата) в Тель-Авиве:

"Среди ораторов были главные раввины Амиэль и Узизль, мэтр Тель-Авива Исраэль Роках, болгарский консул в Палестине Моше Шелуш, член мацбиута (главного командования) М. Шескин, Председатель "Ваад гаморшим" д-р Арье Альтман, командир "Брит гахаял" в Палестине Менахем Арбер.

Открытие состоялось вечером 30 июля в переполненном зале "Бейт гахаял гаиври". Среди лидеров еврейской общины, присутствовавших на собрании, были Иегошуа Супраски, Даниэль Сыркин, Давид Пинкус и другие.

На открытии присутствовало более семисот человек, а когда в зал уже нельзя было протиснуться, люди стали залезать на крышу. Первым выступил главнокомандующий инженер Шескин, а после него говорили вышеперечисленные ораторы."

Когда в 1939 году немецкая армия оккупировала Польшу, большинство членов "Брит гахаял" погибло вместе с другими евреями от рук фашистов. Лишь небольшая группа осталась в живых, пройдя через советские лагеря. Сейчас эти люди разбросаны по всему миру.

Вожди — Жаботинский, Иермиягу Гальперин, Крол, Арбер — давно умерли.

Я склоняю свою голову перед памятью моих учителей, друзей и товарищей.



М. Шескин (справа) с З. Жаботинским (в центре) на улице Варшаве.



**ЛУКИШКИ—ПЕЧОРЛАГ**

## АРЕСТ

Когда началась Вторая Мировая война, я уехал из Варшавы в Вильно. В доме матери жили Муня и Юля со своими семьями. Женя с Брониславом были уже в Нью-Йорке.

Прохладным летним днем 1 августа 1940 года я вернулся в свою контору с кладбища, где посетил могилу отца. Я ходил туда обычно раз в неделю, садился на невысокую скамейку рядом с могилой. Надгробие было из светло- и темносерого мрамора. На плите была высечена надпись "Яков бен Меир Шескин, хавер шилтон егуди б'Вильна, эхад меватикей гатнуа гационит" (Яков бен Меир Шескин, член еврейского самоуправления в Вильно, один из ветеранов сионистского движения). Могила была окружена деревьями и цветочными клумбами. Во время моих еженедельных посещений я обычно размышлял о различных трудностях, пытаюсь найти ответы на стоявшие передо мной вопросы.

По приходе в контору я провел совещание с главным инженером фабрики Шаей Левиным и старшим десятником Осипом Станкевичем, — оба работали на нашей фабрике уже более двадцати лет. Мы обсуждали очередные производственные вопросы. Позднее к нам присоединился инженер Давид Бунимович, один из со-директоров нашей фирмы.

Часов в пять наш бухгалтер, г-н Трегер зашел в мой кабинет и сообщил, что в контору явились два представителя Министерства Торговли из Москвы и просят, чтобы я их принял. Визит этот был неужи-

данным. Советские войска лишь несколько недель тому назад вошли в Прибалтику, в соответствии с условиями пакта Молотова — Риббентропа.

Со дня смерти отца в 1938 году я был председателем Совета директоров нашей фирмы, занимаясь одновременно и техническими, и финансовыми вопросами. Посетители вошли в мой кабинет. Они сказали, что их министерство заинтересовано в приобретении большого количества лигнина, производство которого незадолго до того было налажено на нашей фабрике. Один из них сказал, что так как уже на следующее утро они уезжают в Москву, то было бы хорошо, если бы я, вместе с представителями технического руководства, отправился с ними во вновь организованный отдел министерства на улице Мицкевича в Вильно.

Предложение это было из таких, от которых весьма нелегко отказаться. Мы вышли из дома. Внизу нас ожидал красный четырехдверный автомобиль. Я сел на заднее сиденье, два "представителя Министерства торговли" сели справа и слева от меня. Впереди, рядом с шофером, расположились Давид Бунимович и Шая Левин. Начинало смеркаться. Машина тронулась с места. Мы приехали на улицу Мицкевича, подъехали к зданию министерства, но машина не остановилась около Министерства Торговли. Нервное напряжение у евреев, пассажиров красного автомобиля нарастало. Машина продолжала мчаться по улицам Вильно, и тут я понял, куда нас везут: в тюрьму Лукишки. Тюрьма эта была расположена недалеко от улицы Мицкевича. Бунимович и Левин обернулись и посмотрели на меня. Они тоже поняли, что происходит. Никто, впрочем, не сказал ни слова. У меня был дипломатический паспорт республики Гондурас, и я убеждал себя, что я в безопасности. Но я ошибался!

Машина остановилась перед большими железными



воротами в одном из переулков. Нигде не было вывески "тюрьма", но все жители Вильно прекрасно знали это старое здание за забором с железными воротами. Один из моих "провожатых" открыл дверцу машины, вышел и достал пистолет.

— Вы арестованы, — сказал он мне.

Удивленный и обескураженный, я вышел из машины и услышал, как другой агент НКВД сказал Бунимовичу и Левину:

— Вас отвезут сейчас в центр города, но никому ни слова о происшедшем. Если проговоритесь, вас тоже арестуют.

Я посмотрел на моих друзей в последний раз. Этот раз действительно был последним. Больше я никогда не видел ни Давида, ни Шаю. Они были замучены позднее в советской тюрьме.

Ворота открылись и, пропустив меня внутрь, захлопнулись за моей спиной. Меня ввели в "приемную". Вокруг большого стола сидели энкаведешники. От меня потребовали, чтобы я выложил на стол все содержимое моих карманов, даже носовой платок. У меня были большие и красивые платиновые часы, которые я получил когда-то в подарок. Часы были тоже отобраны. Взамен я получил клочок бумаги — "квитанцию". Мне задали несколько вопросов, я заполнил несколько бланков, и конвоир отвел меня на второй этаж. Администрация тюрьмы, несмотря на приход советской власти, состояла из литовцев. Пожилой надзиратель отпер мне дверь камеры, в которой были кровать, стул, зарешеченное окно и большое ведро в углу. Он проговорил несколько слов по-литовски, которого я не понимал — что-то о пище. Еда? Как можно думать о еде! Первую ночь в тюрьме я провел без сна. Я не знал, сообщили ли матери и Муне о том, где я. В голове моей проносились миллионы тревожных мыслей.

Следующий день, а за ним и десятки других не

принесли никаких вестей. Меня не вызывали на допросы. Каждый день я ждал, что придет надзиратель, скажет, что меня арестовали по ошибке, и что я могу идти домой. Но скоро я отбросил эти наивные мысли. Через тридцать дней меня, наконец, вывели из камеры и повели в кабинет следователя, майора НКВД, который провел со мной короткую "беседу". Он не выдвигал никаких обвинений. Только задавал вопросы. Через час я был уже снова в своей камере, дожидаясь следующего допроса, который состоялся через три недели.

После этого допросы стали серьезными. Все чаще они проводились по ночам. Небрежно и обыденно, словно говоря: "любите ли вы цветы?" или "посмотрите, какое красивое небо", тот самый майор сказал мне:

— Вы — английский шпион.

Шпион? Английский? Что это за глупая шутка? Я сказал, что я думаю об этом обвинении. Он ответил:

— У нас есть все необходимые подтверждающие документы. Это факт.

Я сидел на маленькой скамье, положив руки на колени — как того требовали тюремные правила. За моей спиной стоял конвоир с винтовкой. Майор сказал:

— Вот карандаш и бумага. Опишите, как вы стали шпионом и каким образом вы информировали англичан о ваших действиях. Опишите ваши контакты, способы передачи информации. Укажите, сколько денег вы получили за эту деятельность. Сколько отважных красных солдат вы предали? Сколько наших планов вы выдали англичанам? Я вернусь через два часа.

Я остался в комнате вдвоем с охранником. "О чем писать?" — думал я. Я решил написать историю своей жизни. В процессе этой "работы" я понял,

что ярлык "английского шпиона" мне пришили потому, что я был членом Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации и командиром "Брит гахаял".

Открылась дверь, и в комнату вошел майор-следователь. "Кончили?" Я отдал ему написанное. Он бросил беглый взгляд на исписанные листки бумаги и сказал, саркастически улыбаясь:

— Само собой разумеется, что вы не успели описать всю свою шпионскую деятельность. Впрочем, сейчас вы можете рассказать о ней мне.

Я не признал выдвинутых против меня обвинений и резко протестовал.

— Вы лжете, — кричал майор, — лучше сознайтесь сейчас, иначе дорого заплатите за свое упорство!

Я повторил, что мне не в чем сознаваться и добавил, что это его задача доказать, что я шпион. Ответом было, что это не их дело доказывать, что я шпион. Это я должен доказать им обратное.

Мы разговаривали долго. Он изложил мне свое жизненное кредо. "Вы не красный, вы — белый. А все белые — враги рабочего народа".

— Но кроме красного и белого есть еще и другие, нейтральные цвета: зеленый, серый, синий, — сказал я ему.

— О, нет! Или красный, или белый. Других цветов мы не знаем, — отвечал он.

Этот абстрактный разговор продолжался до поздней ночи.

Когда меня привели в камеру, голова моя была полна мыслями о том, как разорвать эту жуткую петлю. Поспать я успел всего часа два — в шесть утра прогремел сигнал к подъему. Передо мной был долгий день, а может быть, долгая неделя, долгий месяц, год.

Одной из основных черт "специального подхода" к заключенному было лишение сна. Это был стан-

дартный порядок в советских тюрьмах. НКВД работал преимущественно ночью. Все серьезные допросы проводились в ночное время. Днем заключенным запрещали спать. Нельзя было даже ложиться на нары. В дверях камер были "глазки", в которые надзиратели наблюдали за тем, чтобы заключенные не ложились спать и не пытались покончить с собой. Если надзиратель видел в глазок, что заключенный дремлет, сидя на табуретке или стоя, прислонившись к стене, то он открывал "кормушку" и предупреждал: "За сон в дневное время — карцер". Не спать в камере было лучше, чем спать в карцере. Это я тоже узнал на собственном опыте в Лукишках.

Режим дня был такой: заключенного будили после отбоя, как только он успевал заснуть, и вели на допрос, который мог продолжаться до самого утра. В НКВД хватало следователей, как, впрочем, и арестантов. После бессонной ночи на допросе заключенного возвращали в камеру. Он клал раскалывающуюся от боли голову на матрац. Но уже очень скоро свисток побудки вызывал его к действительности. Начинался новый день. Кормили три раза в день, но голод не проходил даже после еды. Затем наступала ночь, а, значит, и новые допросы. И так без конца, снова и снова.

Мозг допрашиваемого заключенного постепенно затуманивался. Арестант падал духом. Он не мог уже твердо держаться на ногах. У него было единственное желание — немного поспать, отдохнуть, забыться. Каждый, кто прошел через сталинские лагеря, поймет это настойчивое желание — забыться, уйти от непрекращающейся пытки.

Едва я успевал уснуть (обычно это было около десяти часов вечера), как меня будили и вели на допрос к "гражданину следователю", майору НКВД, который "шефствовал" надо мной в течение несколь-

ких месяцев. Это был худой и бледный человек, постоянно в дурном расположении духа. Говорил он по-русски с украинским акцентом. У нас с ним было немало шумных сцен. Однажды он бросил в меня тяжелой пепельницей, стоявшей у него на столе. Он промахнулся. Сидел я в десяти шагах от стола на узкой скамейке, с руками на коленях, в течение долгих часов. За моей спиной постоянно стоял конвоир с винтовкой. Майор никогда не приближался ко мне. Все происходило на расстоянии десяти шагов. Угрозы, оскорбления, самые грубые русские ругательства — все использовалось для того, чтобы сломить меня.

Однажды ночью, когда допрос закончился, майор сказал:

— Завтра вы встретитесь с одним своим близким приятелем. Мы устроим вам очную ставку.

— С кем? — тихо спросил я.

— Завтра узнаете, — ответил следователь.

Я провел бессонную ночь и беспокойный день, пытаюсь догадаться, с кем мне придется встретиться на очной ставке. Неужели они арестовали брата? Кто будет сидеть напротив меня на очной ставке?

День приближался к вечеру. Нам выдали нашу вечернюю порцию постного супа. Затем раздался свисток к отбою, и меня вызвали на допрос.

Меня ввели в комнату допросов. Там были только мой следователь и конвоир.

— Садитесь, — сказал майор, — вы хотели знать, с кем вам предстоит встретиться сегодня? Не так ли?

— Да, конечно, гражданин следователь, — ответил я.

— Сейчас узнаете, — ответил он.

Тут отворилась дверь, и в комнату в сопровождении другого следователя вошел Давид Крол.

Давида я знал много лет. Он был Генеральным секретарем "Брит гахаял", очень энергичным человеком и, помнится, с отличным чувством юмора.

Мы не отрываясь смотрели друг на друга.

Двое следователей повели допрос очень строго. Они сообщили нам, что мы не имеем права разговаривать друг с другом, что мы должны только отвечать на задаваемые нам вопросы. Следователь показал на меня пальцем и спросил у Крола:

— Вы знаете этого человека?

Разговор далее шел так:

Крол: Да.

Следователь: Кто этот человек? Какой пост он занимает?

Крол: Это Мирон Шескин, я знаю его как главнокомандующего "Брит гахаял" в Польше.

Следователь: Это большая организация?

Крол: В ней состоит около сорока тысяч еврейских резервистов.

Следователь: Какова была ваша функция?

Крол: Я был Генеральным секретарем этой организации.

Следователь: "Брит гахаял" — это международная организация?

Крол: Да.

Следователь: Кто был главой этой организации за границей?

Крол: Зеев Жаботинский.

Следователь: Кто такой Жаботинский?

Крол: Это великий сионист и великий еврейский вождь.

Следователь: Где мы можем его найти?

Крол: Насколько мне известно, он находится сейчас в Лондоне.

Следователь: Он удрал отсюда?

Крол: Он никогда не жил здесь, только приезжал на короткое время раз или два в год.

Следователь: Знаете ли вы все, чем занимался Шескин?

Крол: Думаю, что да, хотя я не уверен, впрочем.

Следователь (обращаясь ко мне): Итак, вы услышали, в чем вас обвиняют. Мы обсудим это позднее, когда Крола уведут.

Во время допроса Крол не смотрел на меня. Выглядел он очень смущенным и расстроенным. Перед тем, как выйти из комнаты, он обернулся и быстро посмотрел на меня.

Потом настала моя очередь.

Следователь: Крол рассказал нам о вашей контрреволюционной деятельности в "Брит гахаял". Вы командовали белой армией, готовой к выступлению против Красной Армии. Генеральный секретарь не может не знать, что происходило в организации.

Я: Ерунда! Ничего подобного Крол не мог говорить. Это была ассоциация бывших солдат еврейского происхождения. Задачей организации было создание армии, которая пойдет в Палестину, чтобы сражаться с англичанами в войне за образование еврейского государства.

Следователь: В каких отношениях вы были с Жаботинским?

Я: Я отношусь к нему с любовью и уважением. Он — самый великий человек из всех, с кем мне приходилось встречаться, и я надеюсь, что когда-нибудь я встречу с ним снова и расскажу ему о нашем сегодняшнем разговоре.

Тут следователь ехидно улыбнулся. Я не знал, чему. (Через некоторое время после этого допроса я узнал от другого заключенного, что Жаботинский умер в Нью Йорке через четыре дня после того, как меня арестовали. Умер он от разрыва сердца.)

Следователь: У вас было национальное знамя?

Я: Да. Бело-голубое знамя со Звездой Давида в центре и надписью: "За наш народ и нашу землю".

Следователь: Кто из врагов советской власти стоял у руководства этой организации?

Я: Во главе этой организации стояли бывшие

офицеры и солдаты еврейского происхождения из разных стран. Все они были сионистами, все мечтали о том, что когда-нибудь у нашего народа будет наше собственное государство, наш флаг, наша армия.

Следователь: Где Жаботинский сейчас?

Я: Я думаю, где-то в Европе.

Следователь: Он пытался освободить вас из тюрьмы?

Я: Я не имел от него вестей с момента ареста.

Следователь: Верно ли, что вы в свое время организовали большой марш резервистов в военной форме, с флагами и музыкой?

Я: Это была первая Конвенция "Брит гахаял", на которую приехал Жаботинский. Мы хотели показать антисемитам в Польше, что евреи располагают своими собственными вооруженными силами, которые в состоянии защитить жизни евреев во время погромов. Мы хотели показать нашим друзьям, что придет день, когда все мы выйдем на марш в Палестину, чтобы помогать там нашим братьям, борющимся против англичан.

Следователь: Расскажите мне поподробнее об этой фашистской военной демонстрации.

Я: Демонстрация эта не была ни фашистской, ни военной. Это была просто конвенция нашей организации. Мы прошли по улицам Варшавы, в основном, по еврейским кварталам. Глубокий интерес и поддержка, выказанная нам народом, были ошеломляющими. Во главе процессии вместе со мной шли капитан Иермиягу Гальперин и Аарон Пропес. Когда мы подошли к Вечному огню на могиле Неизвестного польского солдата, нас встретила группа польских офицеров, и мы возложили на могилу венок. Оттуда мы направились в большой зал, который был заполнен до отказа участниками конвенции. Я представил делегатам Жаботинского. Его встретили бурными аплодисментами. Так участники собра-



ния выражали свою гордость Жаботинским и искреннюю любовь к нему. Жаботинский обратился к участникам собрания с речью, а затем конвенция начала работу.

Допрос был закончен. Следователь пообещал вызвать меня на следующий день.

На одной из площадей Вильно, недалеко от тюрьмы, был установлен громкоговоритель. Целый день из него неслись речи, музыка и новости. Иногда случалось, что ветер доносил слова из громкоговорителя в нежелательном направлении — к тюрьме. Звуки эти проникали сквозь тюремные стены, и "враги народа" узнавали о том, что делается в мире.

Среди нас было несколько "телеграфистов", которые помогали нам разорвать изоляцию, навязанную нам НКВД. Телеграфисты снабжали заключенных новостями. Когда известия достигали штаба нашей "телеграфной службы", то их передавали сверху вниз, по водопроводным трубам, и "вширь", через стены камер. Делалось это с помощью упрощенной азбуки Морзе.

Посредством внутреннего телеграфа мы не только получали новости о мире, но и знакомились с арестантами из соседних камер. Когда прибывал новый заключенный, телеграфист в его камере "представлял" его заключенным из соседних камер, а через них — другим арестантам.

По этому телеграфу я узнал однажды, что в соседней камере содержится мой друг Менахем Бегин. Телеграфист спрашивал, знает ли его кто-нибудь и можно ли разговаривать в его присутствии (тюрьма была наводнена "наседками", которых НКВД подсаживал время от времени в разные камеры. Нам нужно было быть очень осторожными в разговорах, даже между собой, если мы не хотели, чтобы содержание наших разговоров стало известно администрации).

Я еще не постиг искусства точек и тире и попросил нашего телеграфиста передать в соседнюю камеру, что я знаю Менахема и что они могут свободно разговаривать в его присутствии. По случаю я выразил желание поговорить с Менахемом по телеграфу и послал ему привет. В тот же день телеграфист соседней камеры сообщил нам, что Менахем готов к "беседе". Так как ни я, ни Бегин не были знакомы с тюремной телеграфией, разговор шел через двух телеграфистов в моей и его камере. Я тепло приветствовал Менахема, и спросил о его семье и о здоровье Жаботинского. Ответа не последовало. Я был встревожен молчанием соседней камеры. Может быть, надзиратель ворвался к ним, услышав стук?

На следующий день я повторил мой вопрос: "Где Жаботинский?" Снова безрезультатно.

Бегин рассказал мне позднее, что ему было трудно принять решение, говорить мне о смерти Жаботинского или нет. Он откладывал ответ несколько раз. Но мои подозрения росли. Я продолжал настаивать. Наконец, однажды Менахем передал в нашу камеру "телеграмму", в которой сообщал, что Жаботинский умер. Заканчивалось сообщение словами: "Люди, верившие в него, его соратники должны исполнить его заветы".

Я был в отчаянии. Жаботинского больше не было с нами. А я мечтал, что приду к нему, как солдат к своему офицеру, и расскажу о пережитом.

Повинуясь внезапному импульсу, я надел на голову картуз, стал лицом к стене и прочел "Кадиш". В моей камере было пятнадцать заключенных, большинство — интеллигенты. Среди них не было ни одного еврея. Когда я закончил молитву, сказав в последний раз "аминь", я услышал, как четырнадцать голосов повторило за мной "аминь". Все неевреи в камере, из уважения к моему глубокому горю, почтили меня этим словом. Трижды в день я говорил

”Каддиш” и трижды в день они стояли вокруг меня, как стена и повторяли: ”Аминь”.

(В первую годовщину смерти Жаботинского я был в больнице в трудовом лагере за Полярным кругом, на берегах Печоры. Все евреи палаты собрались возле моей кровати. Говорили шепотом, на иврите, смешанном с идиш. Вечером мы покрыли головы и прочли ”Каддиш”. Мы стали вспоминать наши встречи с Жаботинским. Перед тем, как расстаться, каждый из нас дал клятву, что каждый, кто выживет и попадет снова в свободный мир, возьмет с собой горстку земли из этого забытого богом уголка и привезет ее на могилу Жаботинского в Нью-Йорке.)

Чтобы заставить меня ”сознаться”, администрация тюрьмы решила отправить меня на семь суток в карцер. Карцер очень ослабил меня физически, но не сломил меня морально. Карцер находился в глубоком подвале. Стены его были покрыты плесенью. Он был расположен в конце глухого коридора, куда не доносилось ни звука извне. Днем там было нестерпимо жарко. Ночью температура приближалась к нулю. Непроветриваемая клетка была загрязнена и загажена. Пищу приносили через день — кружку черной воды (холодного кофе) и кусок хлеба. Одежд не было, не было и кровати. Только грязный цементный пол, по которому сновали крысы. Под потолком постоянно горела маленькая электрическая лампочка. Я не знал даже, день сейчас или ночь — на вторые сутки я потерял счет часам. Я думал, что на свете нет места страшнее, чем моя камера, но теперь я узнал, что такое место есть, и что я в нем нахожусь. Даже сейчас я не могу представить себе, как я перенес эти семь долгих дней и ночей.

Когда меня вернули в камеру, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Когда я вспоминаю об этом погребке, мурашки до сих пор пробегают по моей спине. И я прошел через это. Через кар-

цер, о котором заключенные говорили с ужасом.

Допросы возобновились. Я уже привык к бесконечной ругани, к тому, что проводил ночь за ночью, сидя на узкой скамье и слушая, как следователь орет — "шпион! Сионист! Белогвардеец! Враг! Враг!" Так это и продолжалось кругами, месяц за месяцем. Следователи неустанно вели протоколы. Папка с моим делом все росла. Я восклицал про себя: "О Господи! Дай мне только силы пройти через эти муки!"

Как прекрасно было бы, если бы не нужно было больше подниматься по утрам, если бы я мог умереть во сне. Я перестал говорить "крийт шема" перед тем, как ложиться спать. Может, случится чудо, и я не проснусь утром...

Через восемь месяцев заключения следователь сообщил мне:

— Мы приближаемся к концу нашей дискуссии. У вас скоро не будет больше бессонных ночей. Больше вас не будут трогать. Никто, — прибавил он с довольной усмешкой.

— Вы же понимаете, что вас расстреляют как шпиона. Но мы — цивилизованные люди. Если вы подпишете признание, расстрел вам заменят пожизненным заключением. Вы проведете оставшиеся вам годы на свежем воздухе в трудовом лагере. А может быть, когда-нибудь вас амнистируют и вы снова станете свободным человеком.

Ну и перспектива! Я никогда не подпишу эту бумагу, тем самым признавая, что я шпион. Я сказал следователю:

— Делайте, что хотите. Но моей подписи на этом документе не будет.

Мимо моей головы пролетела толстая книга, со злости запущенная в меня майором.

Открылась дверь, и в комнату вошел другой следователь.

— Что происходит? — спросил он.

— Нет, ты только представь себе, — прокричал мой майор, — этот сукин сын отказывается подписать!

— Что?! — завопил второй следователь, и продолжил, уже спокойнее, — для вашей же пользы советую вам подписать. Почему вы этого не делаете?

— Я не могу поставить свою подпись под документом, в котором содержатся ложные факты. Ничего подобного я не делал, — сказал я.

Затем я рассказал им историю об одном русском священнике, которому каждую ночь являлись во сне обнаженные женщины (это был один из рассказов Толстого). Чтобы избавиться от этого наваждения, священник отрубил себе топором руку.

— Так вот, — сказал я следователям, — я готов отрубить себе руку, чтобы доказать свою невиновность.

Оба следователя посмотрели на меня, как на сумасшедшего.

— Вы слишком опасный преступник, чтобы давать вам в руки топор, — сказал один из них. — Что это за игру вы придумали? Хотите спасти свою жизнь, отделавшись одной рукой?

Я ответил ему, что у меня есть право защищаться против этого вздорного обвинения.

Много ночей продолжалась моя неравная борьба со следователем. Я упорно отказывался подписать признание. Через неделю изматывающих допросов я согласился только написать на документе: "С вышеизложенным ознакомился".

В одну из мартовских ночей 1941 года наш "телеграф" работал на полную мощность. В "телеграммах" сообщались имена заключенных и сроки, на которые их осудили. Чаще всего встречалась цифра 8 лет, иногда — 5 лет. "Когда был суд?", — спросили мы наш "центральный телеграф", послав запрос по водопроводной трубе. "Суда не было, есть только приговоры", — был ответ.

Свисток к отбою положил конец работе телеграфа. Разговаривать нельзя было даже шепотом. Мы лежали на наших жестких матрацах, в темноте, пытаюсь "переварить" эти новости.

Прошло несколько дней, и все наши сомнения были рассеяны. "Всем в коридор! В одну колонну!", — слышалась команда. Это было на рассвете 1 апреля 1941 года. Нас провели по знакомому нам маршруту к расширению в коридоре, мимо которого мы проходили почти каждую ночь по пути на допрос. Там за маленьким столиком сидело два человека в штатском. Заключение вызывали к столу по одному. Все остальные стояли далеко от стола и не слышали, что говорили стоявшему у стола. Они видели только маленький листок бумаги, который сидящие за столом подавали заключенному для подписи.

Наступила моя очередь. "Имя?", — спросил один из сидящих за столом. Я назвал. Другой начал просматривать стопку бумажек, лежавшую перед ним, причем делал это так быстро, как будто был кассиром и считал деньги. Найдя нужную бумажку, он вытащил ее из стопки и протянул соседу. Тот прочел мне следующее (Эти слова до сих пор не стерлись у меня в памяти): "Особое совещание Народного Комиссариата Внутренних Дел в Москве постановило, что Мирон Яковлевич Шескин — социально опасный элемент, и приговаривает его к заключению в исправительно-трудовой лагерь на срок в восемь лет".

— Подпишите, пожалуйста, — сказал чиновник.

— Это первоапрельская шутка, — сказал я, подписывая "квитанцию".

Сидящие за столом переглянулись, и один из них негромко сказал:

— Увидишь, что это за шутка!

Я воистину увидел, что это была за шутка!

Возвратившись в свою камеру, я подумал: "Восемь лет. Возможно ли это?". Заключение в камере

обсуждали свои приговоры. Все были растеряны.

Через несколько дней часть заключенных перевели в другие камеры. Среди новоприбывших в мою камеру был Менахем Бегин. Мы приветствовали друг друга, обнявшись и пытались утешить один другого: "Будем сильными. Мы победим".

Мы победили. Но это — потом.

## ПЕСАХ 1941 ГОДА

Через одного из надзирателей мы узнали, что буквально через несколько дней начинается праздник Песах. Мы приготовили "седер", стараясь, насколько это было в наших силах, придерживаться традиционных обрядов. Отрезали по маленькому кусочку хлеба от каждой пайки, посыпали его сахаром, обливали "кофе" из кружки и откладывали в сторону, чтобы он высох. Это будет наша "маца". Вместо обязательных четырех стаканов вина мы использовали тюремный "кофе". Когда наступил вечер "седера", мы произнесли над нашей "мацой": "Вот хлеб трудных лет". Годы эти воистину были трудными. "Пусть все голодные придут и едят". Нет, нет! Ради бога, не приходите и не разделяйте нашей трапезы!

Мы возвысили наши голоса в молитве-мольбе. Потом мы подошли к зарешеченному окну и громко, так, чтобы нас слышали заключенные в других камерах, проскандировали: "В этом году мы рабы. На будущий год мы, может быть, будем свободными людьми. В этом году мы здесь, а в будущем, может быть, будем в Иерусалиме".

Стоя перед окном, мы громко, как солдаты, запели "Гатикву". Тут мы услышали, что мелодия нашего гимна несется и из других окон тюрьмы. Мы были поражены этой реакцией, проявлением мощного устрем-

ления наших собратьев-арестантов к свободе. "Гатиква" звучала и как гимн, и как молитва.

Открылись двери. Надзиратели врывались в камеры, стараясь утихомирить заключенных. Тишина была главным правилом тюремного распорядка. Но на этот раз им не удалось заставить нас замолчать, пока мы не спели "Гатикву" до последнего слова.

Посылки с вещами прибывали к нам очень редко но они согревали не только наши тела, но и наши сердца. В каждой посылке мы искали послание с воли. В одной из полученных мною посылок было два куска мыла. Я подозревал, что в одном из них спрятана записка. Я стал разламывать мыло на мелкие кусочки, ища послание. Я "обрабатывал" кусок мыла железной ложкой с заостренной ручкой. Я изрезал весь первый брусок, но записки там не оказалось. Но как только я срезал верхний слой на втором куске, появился край листка бумаги. По какой-то причине его не засунули глубоко в мыло. Может быть, чтобы я не испортил окончательно этот драгоценный брусок. Я не узнал почерка, которым была написана записка. В ней говорилось, что в Соединенных Штатах ведется кампания за наше освобождение, и что, по мнению автора записки, шансы на то что эти усилия принесут плоды, велики. О, как мне хотелось верить в это!

После пасхального праздника в наших "телеграммах" все чаще стало появляться слово "Котлас". По слухам, нас намеревались направить туда на "перевоспитание". Этот процесс должен был занять от пяти до восьми лет. Никто не знал, где находится этот таинственный Котлас. Некоторые говорили, что это железнодорожная станция, где-то за Вяткой.

В начале мая нам сообщили, что нам разрешат свидание с семьями. "Да, — сказал дежурный офицер, — это будет ваше последнее свидание перед этапом в трудовой лагерь".



Ожидание дня свидания с матерью и братом было невыносимым. Я не был уверен в том, что мне стоит прощаться с ними — это только умножит страдания матери. Она увидит меня, худого и бледного, с обри-той головой — и это будет ее последней памятью обо мне. Я не надеялся увидеть ее еще раз.

Я боролся с собой, я даже хотел подать прошение тюремным властям об отмене свидания. Но я понял, что не имею права этого делать. Мать и Муня не поймут. Они с нетерпением ждут этой встречи. Наконец, настал день свидания.

Смеркалось, на улице было уже темно. Меня подвели к частой решетке, разделявшей комнату свиданий на две части. Не так-то легко было увидеть что-нибудь сквозь эту решетку. Рядом со мной стоял конвоир, который предупредил нас, что говорить можно только по-русски или по-польски. Я вглядывался в пространство по ту сторону решетки и не видел ничего. Потом постепенно я увидел две тени, стоявшие с той стороны решетки. Это были мать и Муня. Лица их было трудно различить, но я увидел мать (она сильно похудела) с трясущимися губами и Муню, бледного и пыгающегося выдавить из себя улыбку. Так что героем пришлось быть мне. Я сказал им, что они хорошо выглядят, что я чувствую себя хорошо, что годы эти быстро пролетят и мы снова будем вместе. Я боялся расплакаться, боялся упасть в обморок.

И тут я услышал голос моей родной старой мамы. Она тихо сказала, что годы летят, и что если мы не встретимся на этой земле, то наверняка встретимся в лучшем мире, где мы будем снова вместе с нашим отцом. Муня плакал, его губы беззвучно шевелились. Может быть, это была молитва, может быть — благословение. В голове моей непрерывно стучало: "Последний раз. Я вижу вас в последний раз". Я попросил маму и Муню передать привет Жене, Белле, Юле,

Зосе и всей семье. Я попросил их помнить, что все, что я ни делал в своей жизни, я делал это не только для себя, что я служил своему народу.

Мать взялась руками за решетку, будто пытаюсь поцеловать меня. Было темно. На решетку падали тени. Лица моих родных было невозможно рассмотреть. Это был конец. Пришел надзиратель и вывел меня из комнаты.

Я не помню, кто привел меня в мою камеру. Долгие дни и ночи я продолжал видеть перед глазами маму и Муню — как в густом тумане. Свидание было трагично, как сама смерть. Я помню мать, некогда красивую и полную жизни женщину, стоящую перед решеткой и пытающуюся выдавить из себя слова утешения, ободряющую улыбку. И она, и я, оба мы знали, что больше нам не суждено увидеться. А Муня — талантливый адвокат, блестящий оратор — потерял от горя дар речи.

Боже! Избавь людей от таких трагических минут!

В один из июньских дней нас вывели на огромный плац на территории тюрьмы. Заключенные, числом около 2 тысяч человек, были разделены на группы. Сотни солдат НКВД сновали между арестантами. Нам приказали раздеться догола, после чего был проведен тщательный обыск наших тел и вещмешков. На другой стороне плаца стояли заключенные-женщины, как и мы, раздетые догола. Женщины-знакаведешницы обыскивали их с тем же рвением, что и занимавшиеся нами солдаты-мужчины. Сцена эта напоминала рынок рабов в древности.

Я был одним из пятнадцати заключенных, которых запихнули в тесный "черный ворон". Машина тронулась с места, остановилась перед воротами тюрьмы и затем выкатилась на улицу. В "воронке" не было окон. Единственной возможностью проследить за движением нашей машины по улицам было смотреть в маленькую дырку в полу кабины рядом с

дверью. Люди в городе, по всей вероятности, знали, что нас будут перевозить, и сквозь отверстие в полу мы увидели сотни ног, стоящих вдоль тротуаров. Так вильненцы посылали нам свои молчаливые прощальные приветы и возносили молитвы за своих отцов, братьев, детей.

Это был мой последний день в Вильно. Больше мне уже не привелось побывать в своем родном городе.

## БЕЛЫЕ НОЧИ

На дальнем пути на вильненском вокзале нас уже ожидал длинный товарный поезд. Около состава стояли солдаты НКВД с винтовками, к которым были примкнуты штыки. Они сдерживали рвущих поводки лающих собак. Так проходила наша "погрузка". Вагоны были переполнены, особенно тесно было на нижних деревянных полках. Но большинство заключенных, голодных и измученных, немедленно упали на лавки и заснули.

Через короткое время поезд — тюрьма на колесах — тронулся.

Кормили в пути хлебом и ржавой селедкой. Еду разносили заключенные с повязками на рукавах. После селедки ужасно хотелось пить, воздух был наполнен криками — заключенные требовали воды.

Через маленькое зарешеченное окошечко на уровне третьего яруса мы могли наблюдать за ходом поезда и за встречными поездами. И тут мы заметили странное явление: эшелоны с солдатами и военной техникой шли один за другим навстречу нам. Что это происходит? Мобилизация? Подготовка к войне? И тут только к нам прорвалась новость: началась война с Германией. Как нам удалось узнать

об этом? Ведь мы, заключенные, находились в строгой изоляции. Никто не мог объяснить этого. Но все были возбуждены и мечтали о скором освобождении.

Конвойные сообщили нам, неофициально, что нас везут на Крайний Север, в страну белых ночей, где дневной свет, казалось, был вечен, а ночи почти не было. После длительного и крайне утомительного путешествия мы прибыли, наконец, на маленькую станцию Козьва, подведомственную НКВД.

Нам приказали выйти из вагонов с узлами, и мы оказались на большом поле в окружении роты вооруженных солдат. Хотя заключенным не разрешалось разговаривать между собой, мы передвигались по отведенному нам пространству и встречались глазами. Я заметил в толпе Бегина, д-ра Шехтера и Крола.

В уборной мне удалось обменяться несколькими словами с д-ром Шехтером.

Офицер НКВД сообщил нам, что нас отправляют во временный лагерный пункт. И через несколько минут мы выстроились в колонну и начали наш марш. К этому времени я успел уже поговорить с Бегином и Кролом.

Примерно через пять часов пути мы достигли места нашего назначения. Это был пустырь, окруженный забором из колючей проволоки, на котором стояло несколько временных строений. Нас ввели в самый большой из барачных строений и после того, как мы помылись под холодным душем и съели миску водянистого супа, нам разрешили отдохнуть несколько часов.

Заключенных разделили на сотни. Я был рад узнать, что Бегин и Крол попали в одну группу со мной. Затем нам объявили, что наша группа направляется в Печорлаг, на берега Печоры.

Бегин, Крол и я вместе проходили медицинскую комиссию. Крол, как всегда энергичный, завел разговор с кем-то из медперсонала. Он договорился

с одним из лекпомов, что за "три рубашки с воротниками" тот устроит так, что нас не пошлют в лагерь сразу, а отправят сначала в больницу для "дальнейшего обследования". Больница находилась на берегу Баренцова моря. Зима здесь продолжалась девять месяцев, а температура падала иногда до сорока градусов ниже нуля.

## ТЮРЕМНАЯ БОЛЬНИЦА

Не скоро удалось мне приспособиться к жизни в этой арктической больнице. Первая ночь, проведенная мною в этой "здравнице" НКВД, была сплошным кошмаром. Не успел я прилечь, как из всех щелей и углов на меня стройными колоннами двинулась армия безжалостных клопов. Они нападали на меня яростно, и никакие средства защиты не помогали. Эти мерзкие паразиты жаждали моей крови. Число их все увеличивалось. Соседи мои, казалось, уже привыкли к подобного рода мучениям, но "новички" разве только не кричали "на помощь"! Единственным выходом было встать с кровати и устроиться на скамейке, стоявшей в середине комнаты перед квадратным столом. Как ни странно, это было наиболее безопасное место в комнате. Так я "спал" в эту первую мою ночь в больнице — сидя на лавке и положив голову на руки. Когда наутро я рассказал врачу о своих ночных мучениях, он ответил: "В наших краях и не к такому привыкаешь!"

По неписанному закону, заключенного не могли держать в больнице больше восьми дней. По истечении этого максимального срока его следовало отправить обратно в лагерь. Главврачом больницы была красивая светловолосая женщина лет тридцати, тоже заключенная. Ее мужа, инженера, обвини-

ли в подрывной деятельности на заводе, где он работал. Его арестовали, и через несколько месяцев он умер на допросе. Но поток заключенных в лагерь не должен был уменьшаться — и его вдову отправили в Печорлаг. Это был чудесный человек, преисполненный чувства достоинства, она пыталась в меру сил помогать своим собратям по несчастью, хоть больница не располагала ни достаточным оборудованием, ни необходимыми лекарствами. С особой теплотой она относилась к политическим заключенным, причем следует помнить, что помогая другим, она рисковала своим положением главврача больницы.

Она часами просиживала со мной, расспрашивая о жизни на Западе. Она никогда не жаловалась и никогда не заговаривала о своих детях, которых ей пришлось оставить в Москве, никогда не говорила о своем прошлом.

Чтобы оттянуть мою отправку в лагерь, она переводила меня из отделения в отделение — венерология (страшные воспоминания), кардиология, внутренние болезни и т. д. Так я провел в больнице около пяти недель, прежде, чем меня выписали. За эти свои действия главврач могла поплатиться относительным удобством своего положения. Если бы это раскрылось, ее отправили бы в лагерь. Не знаю, где эта женщина сейчас. Не знаю, помнит ли она меня — одного из сотен своих пациентов, но в моем сердце навсегда остались теплые воспоминания и благодарность. Черты лица ее стерлись в моей памяти, но я сохраняю в себе чувства, которые я, замученный арестант, испытывал к этой теплой и, я бы сказал, солнечной женщине. Там, на берегах Печоры, она была для меня силуэтом мира мечты — всегда чисто одетая (а это было совсем непросто в тех условиях), с длинными светлыми волосами и голубыми

глазами. Я надеюсь, что она живой покинула архипелаг ГУЛаг.

## ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ

После выписки из больницы меня отвезли в лагерь и поместили в палатку, в которой уже жило человек двадцать. Почти все они были русскими, уголовниками. Только немногие были "политическими". Верховодили в палатке, конечно, уголовники. И не только в палатке, но и на работе, и во время нашего скудного досуга. Во время метелей нас не выгоняли на работу. Мы оставались в палатке, занесенной снегом. Снежный покров удерживал тепло, так что в те дни нам было не так холодно. В зимний период в палатке стояла крохотная печурка. После работы уголовники занимали все места вокруг печки, греясь и обсушивая одежду. Нас, "политических", отталкивали подальше от огня. Нам приходилось сушить одежду, раскладывая ее на нарах. Наутро мы одевались во все мокрое.

Работали мы на разгрузке цемента с барж, пришедших по Печоре. Тяжелые мешки с цементом мы тащили на спинах к месту, где предполагалось строить секретный военный аэродром. Идти нужно было немного — не более двухсот метров. Но все-таки карабкаться в гору с тяжелым мешком на плечах было мучением. Наш суточный паек определялся количеством перенесенных каждым мешков. Каждый перенесенный мешок подсчитывался и учитывался.

Не так-то легко было, стоя на качающихся сходнях, принять на спину мешок с цементом, который чаще всего просто бросали тебе на спину. Каждый раз, подставляя спину под мешок, я думал, что сло-

маюсь под его тяжестью (через много лет мне пришлось пройти операцию выправления смещенного позвонка — следствие той работы на переноске цемента). С мешком на спине я немедленно отправлялся в путь, в пункте разгрузки мешок с моей спины снимали и я возвращался к причалу, чтобы взять следующий мешок — день за днем, как вьючное животное.

Средняя январская температура была около десяти градусов ниже нуля. Снег держался десять месяцев в году. От постоянного холода кровь словно густела в наших жилах. Рабочий день в лагере длился четырнадцать часов. Поднимали нас в пять часов утра, а возвращались мы в наши палатки около семи вечера. Рано утром нам выдавали кусок хлеба с "кофе". В полдень полевая кухня привозила обед — миска супа с куском хлеба. Суп состоял из десяти процентов рыбьих костей и девяноста процентов воды. Но варево это было горячее и поэтому было для нас как дар божий. В семь вечера мы получали еще по миске супа и "добавку" в соответствии с заработанным нами "пайком". Трудно ответить на вопрос, как это нам удавалось выжить при такой кормежке, но мы жили, стремясь как можно лучше приспособиться к тяжелейшим условиям.

Мы работали и в дождь, и в пургу, в страшные морозы. Тела наши превращались в куски льда. Около двух часов в день уходило на переходы к месту работы и оттуда обратно в лагерь. Многие жили в таких условиях уже много лет. (По самым скромным оценкам, в сталинское время население лагерей составляло 20 миллионов человек. Большинство из них погибло. Немногие дожили до освобождения, когда их выпускали из-за колючей проволоки с разрешением селиться только в строго определенных отдаленных уголках страны. Лишь крайне незна-



чительная часть освобождающихся получала разрешение на прописку в Центральной России.)

Лагерный образ жизни был особенно тяжелым для заключенных из Западной Европы, большинство которых уже в первые недели заболело (чаще всего — дизентерией из-за загрязненной питьевой воды) и умирало. По обеим сторонам от моих нар стояли в палатке нары двух евреев — бухгалтера из Варшавы и бывшего киевлянина. Они долгое время страдали из-за страшных болей — оба заразились этой дизентерией. Лекпом (лекарский помощник) совершенно не обращал внимания на жалобы политических заключенных, осужденных по пятьдесят восьмой статье. По мнению лекпома, заключенный заслуживал день отдыха, если у него была температура выше 39°C. Мои друзья-евреи умоляли его дать им отдохнуть день или два, но он постоянно отказывал им. Они продолжали работать, пока силы их не истощились окончательно. По вечерам они возвращались в палатку без сил и не могли даже проглотить свою скудную пайку.

Проснувшись однажды утром, мы обнаружили, что оба они мертвы. Они тихо умерли во сне. Может быть, они и звали на помощь, может быть, они звали меня, но я не услышал их голосов. Их похоронили на следующий день в мерзлой земле недалеко от вахты. Когда я в наши праздники говорю "Изкор", я всегда упоминаю этих "кедошим шегалху лекидуш гашем".\*

Как немецкие лагеря уничтожения, так и советские трудовые лагеря были порождением дьявольской мысли. Но даже дьявол работает по-разному в разных случаях. Разница между немецкими лагерями смерти и советскими концентрационными лагерями была заключена в одном слове, которое играло такую большую роль в сознании заключенного! Слово это: надежда. Немецкие убийцы не оставляли своим

---

\* "Мученики во славу господи"

жертвам никакой надежды на то, что им удастся остаться в живых. У заключенных же советских концентрационных лагерей оставались отдаленные шансы на выживание. В большинстве случаев шансы эти были почти нереальны, но даже тонкий луч надежды помогал заключенным существовать там, где это казалось невозможным.

В Лукишках в одной камере со мной сидел офицер, охотник-любитель. Из многочисленных охотничьих историй, что он рассказывал нам, своим сокамерникам, была одна, которая мне запомнилась надолго. Это был рассказ о "законе предоставления возможности", который соблюдают все охотники. Охотник бредет по лесу. Долгие километры он продирается сквозь чащи и заросли, утопает по колено, а то и по грудь в грязи или в болоте, промокает до нитки под дождем, дрожит от холода — есть люди, которые до безумия любят это внешне малопривлекательное занятие — пока не добираться до места, где собираются птицы, на которых он вышел охотиться. Тут охотник начинает целиться из своего ружья. Он целится, но не спускает курок. Позади долгий и утомительный путь. Награда перед ним. Если он не выстрелит сейчас, то, может быть, другого случая уже не представится больше. Но охотник ждет и не стреляет, потому что птица не двигается — она на земле, или на озерной глади, или на ветке. Только, когда птица поднимается на крыло, когда у нее есть "шанс", возможность спастись, охотник стреляет. Если он попал — дичь его. Если он промахнулся — он возвратится домой с пустыми руками, а птица останется живой. Таков закон охоты.

Пусть читатель поймет меня правильно: я вовсе не хочу сказать, что даже если и есть разница между охотниками за людьми, которые убивают своих жертв немедленно, и теми охотниками, которые дают своим жертвам хоть какие-то шансы на

спасение, то, с точки зрения заключенного, такой разницы не существует. Точно так же я не считаю, что судьба была милосерднее к тем, кого сразу убили. Лагеря Гиммлера были лагерями немедленного уничтожения. Лагеря Берии были лагерями медленной смерти. Может показаться, что быстрая смерть лучше, чем смерть после долголетних пыток. Но это не так. Главное здесь — это надежда на спасение. Если бы шесть миллионов европейских евреев были отправлены на лесоповал в Архангельскую область или на угольные шахты Воркуты, на золотые прииски Колымы или медные рудники Урала, то может быть, лишь половина или четверть из них вернулась бы. Но даже в этом случае наш народ насчитывал бы сегодня не одиннадцать миллионов человек, а четырнадцать, а то и пятнадцать миллионов. Один невезучий врач-еврей, попавший из рук одного тирана в руки другого, говорил, что готов променять Печорлаг на Дахау; но он наверняка не согласился бы променять куда более страшную Воркуту на Освенцим.

Можно ли говорить, что разница между немецкими и советскими лагерями состояла в том, что офицеры НКВД были менее жестокими и более гуманными, чем офицеры СС? Вряд ли. Как те, так и другие вычеркнули из своего словарного запаса слово "жалость". Возьмите подшивку "Фелькишер беобактер" и почти в каждом номере этой геббельсовской газеты вы встретите слово "rucksichtlos", "безжалостно". Возьмите подшивку "Правды" тех лет и вы увидите, что с ее страниц не сходит слово "беспощадно".

Совсем не случайно правители и в Германии, и в России, те самые, что проповедовали беспощадность, пытались положить конец вере в Бога среди своих народов, — после того, как искоренили эту веру в своих сердцах. Любая религия проповедует сострадание, хоть, впрочем, слова не всегда соответствуют

делам. Иезуиты говорили о сострадании и создали инквизицию. Но уже сам факт проповеди сострадания сдерживает зверя в человеке и ограничивает, если и не предотвращает совершенно, проявления жестокости. Но когда никто не проповедует сострадания, когда нет веры в милосердного Бога, когда днем и ночью повсюду кричат о "беспощадности" — то в результате это приводит к лагерям немедленного уничтожения и к лагерям медленной смерти.

Всего два или три десятка лет назад весь этот край был снежной пустыней зимой и скудной тундрой, покрытой мхами, летом. Население было крайне немногочисленным. Жили здесь, в основном, коми-зыряне. Одевались они с головы до ног в меховые одежды, так что видны были только их глаза. Образ их жизни был похож на образ жизни эскимосов. Потом через весь край проложили железную дорогу — около двух тысяч километров колеи. Сюда поезда везут людей, машины, стройматериалы. С севера на юг отправляли уголь, нефть и, может быть, другие ископаемые. Печорский край перестал быть пустынным. Он стал весьма густо "населенным". От Козьвы до того самого места, где нас высадили с "этапной" баржи на берег, вдоль обоих берегов Печоры были густо наставлены наблюдательные вышки — признак наличия в каждом таком месте исправительно-трудового лагеря. Плывя на барже, я видел, что в некоторых из этих лагерей не было признаков жизни. Их оставили. Работы там были закончены. Оставшихся в живых заключенных перевезли на новые объекты. Но в большинстве лагерей были заметны все хорошо знакомые мне признаки активности. Во время того памятного путешествия на поезде и на барже я насчитал более тысячи лагерных пунктов на своем пути. В моем лагере содержалось более тысячи человек. А это был лагерь среднего размера, ни в коем случае не большой. Нетрудно было подсчитать, сколь-

ко заключенных содержалось в лагерях, мимо которых мы проезжали. Вряд ли можно было найти хоть один район Советского Союза, где не поднимались бы над землей лагерные вышки.

Советская тайная полиция была единственным владельцем огромных строительных объектов, а затем и предприятий, которые, будучи построенными, начинали давать продукцию. В Советском Союзе не было предпринимателей. Был один предприниматель — государство. Но этот монопольный предприниматель отдал "субподряд" на строительство ряда грандиозных объектов единственному "субподрядчику" — НКВД. НКВД был одним из крупнейших подрядчиков в мире, вероятно, даже самым крупным. Он пользовался крайне дешевой рабочей силой, по всей видимости, самой дешевой в мире.

Проекты строительства становились все более масштабными, а с размерами строительства должна была расти и трудовая армия. Если рабочей силы не хватало, то ее следовало создать и мобилизовать. Число рабочих необходимо было довести до заранее заданной цифры. И в решении этого вопроса НКВД доходил до того, что арестовывал сотни людей за то, что они не брали билета в трамвае (это не плод моего воображения. Такой случай произошел в Ташкенте. Проезд в трамвае стоил несколько копеек, совсем не деньги, по советским понятиям. Но были люди, которые не хотели платить даже эти несколько копеек, хотя большинство пассажиров платило исправно. Обычно на "зайцев" не обращали особенного внимания. Но время от времени проводилась кампания по "отлову" этих безбилетников. Их арестовывали и отправляли в лагерь, обычно на один год. Иногда случалось, что через год их действительно освобождали. Чаще им продлевали сроки уже в лагере. А тем временем они работали на стройке. Мне

часто говорили: "У нас в России всего не хватает". Существует одно исключение из этого правила. Рабочая сила в России всегда имела в избытке).

Заведующий конторой по заготовке скота из Ленинграда рассказал мне в лагере о том, что ему пришлось услышать собственными ушами во время следствия. Его арестовали по обвинению в расхищении государственного имущества, в соответствии с печально знаменитым Указом Президиума Верховного Совета. Обвинили его в том, что он согласился заплатить слишком высокую цену за некондиционный скот. Допрашивал его офицер НКВД, который был в свое время его приятелем. Следствие велось в кабинете, расположенном рядом с кабинетом главного следователя. Во время короткого перерыва в допросе следователь моего знакомого вышел в кабинет начальника, оставив дверь приоткрытой. Начальник громко разговаривал по телефону. Он интересовался результатами какого-то следствия. Его собеседник, видимо, отвечал, что он проводит сбор материалов. Офицер НКВД в соседней комнате закричал в трубку: "Мне не материалы нужны, а люди! Дай мне людей!". И ему давали людей. Следователи старались изо всех сил. Они были ответственны за "выдачу" необходимого количества людей.

Но если подрядчик-НКВД так нуждался в людях, почему же он так небрежно относился к поддержанию их трудоспособности? Почему не были созданы такие условия труда для рабочих НКВД, в которых эти люди не умирали бы, а, следовательно, могли бы продолжать работать? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, труд должен был быть как можно дешевле. Это закон экономики. Во-вторых, следует помнить, что в задачи НКВД входило не только осуществлять строительство, но и проводить кампанию "мщения" против "врагов народа". Лагерная рабсила — враги народа. Враги народа должны

умереть! Противоречие между этими двумя факторами устраняется при помощи все того же лозунга "без пощады".

## СВОБОДА

Слухи о том, что нас скоро освободят, распространились по лагерю с огромной скоростью. Мы очень хотели верить этим слухам, но не могли не сомневаться в их достоверности. Мы не решались спросить начальника лагеря о статусе заключенных-поляков в свете соглашения Сикорского со Сталиным. Мы пытались не выказывать нашей радости от того, что нас, может быть, вскоре освободят из лагеря. Мы боялись, что все это — хорошо замаскированная ловушка. Но даже если новости были верны, стоило быть осторожными. Москва далеко, а Печора — рядом. И наша судьба во многом зависела от администрации Печорлага. Мы продолжали работать. Мы участвовали в "соцсоревновании" между нашим лагерем и одним из соседних лагерей. Специальный инструктор объявил нам об этом соревновании на одной из проверок, в присутствии начальника лагеря. Помню, речь его была зажигательной и насыщена цветастыми эпитетами. Мы же про себя говорили: "Демосфен, может быть и учился ораторскому искусству у нашего инструктора, но нам-то приходится учиться работать, как илотам!"

Однажды этот инструктор объявил нам, что мы должны явиться на собрание заключенных-поляков, в котором примут участие и поляки с соседних лагпунктов. "Что случилось?", "Что происходит?" — спрашивали мы инструктора, такого же заключенного, как и мы сами. "Я не уполномочен, — отвечал он, надувшись, как индюк, — что-либо сообщать вам. Какие-то

важные представители власти будут присутствовать на собрании. Там вам расскажут, в чем дело”.

”Ты поляк?” — спросил меня однажды конвоир, выводя нас на работу. ”Я еврей, но польский гражданин”, — ответил я. ”Непонятно. Польский гражданин, значит — поляк!” ”Ну так что?” — спросил я, потеряв надежду разъяснить ему разницу между национальностью и гражданством. ”Всех поляков освобождают”. ”Кто сказал?” — спросил я, чувствуя неожиданную слабость в коленях. ”Я говорю. А если я говорю, то можешь верить”. ”Но кто тебе сказал?” — настаивал я. ”Ты что это, не хочешь верить, что ли? Ну ладно, я скажу тебе, кто мне сказал: по радио передавали. Да-да, по нашему радио передавали, что всех поляков амнистируют, и они отправляются помогать нам драться с фашистами... Ну, теперь ты мне веришь? По советскому радио передают только правду”.

Наступил день освобождения. Нас, польских заключенных из разных лагерей, собирали в один пункт, где нас должны были освободить. Добираться туда нужно было на барже по Печоре. Баржа отплыла от нашего причала в шесть утра. Заключенные, обезумев от радости, прыгали и пели на палубе. Раздавались звуки польского национального гимна и ”Гатиквы”. На каждой остановке к нам присоединялись новые амнистированные. Что за чувство! Что за несравненная радость!

Под вечер, часов в шесть, мы прибыли на место. Нам предстояло провести ночь в бараках. Рано утром должна была начаться процедура освобождения. Кто мог думать в тот вечер о пище или сне?!

В пять утра мы уже были на ногах и внимательно прислушивались к выкликаемым именам. Вызывали далеко не всех. Распространился слух, что людей из Вильно советские власти рассматривают как литовцев, а не как поляков, так что их освобождать не будут.



Напряжение росло. "Господи, — взывал я, — пусть меня вызовут! Когда же меня вызовут?!" Вдруг я услышал: "Шескин Мирон". Я бросился к двери, ведущей на огороженный плац. На выходе стояла группа солдат и офицеров НКВД, проверяя каждого вызванного и его документы. Я стоял рядом с Давидом Кролом. Офицер проверил мои документы и выдал мне документ на освобождение...

Давид Крол, бывший Генеральный секретарь "Бритгахаял", ожидал своей очереди, но его имя все не называли. "Почему меня не вызывают?" — спросил он меня. Что я мог ему ответить? Он был расстроен, лицо его было бледное и осунувшееся. У меня зародилось подозрение, что Крола не освободят. Я сказал ему, что скоро вернусь, и прошел в следующий барак.

Там на столе сидела красивая девушка в форме солдата НКВД. Она посмотрела на меня, на мои документы и спросила: "Почему это Вы хотите вступить в Польскую армию? Вы инженер, и я уверена, что Вы можете быть полезным нам, а мы... вам." Тут она раздвинула ноги и задрала свою юбку так высоко, что я мог видеть "центр мира". Она добавила: "Оставайтесь здесь, и будьте уверены, что будете получать это каждый день. Девушки у нас красивые. И мы осчастливим вас, особенно после того, как вы столько месяцев провели в заключении — вы ведь, наверно, забыли, что такое женщина". Я не знал, как ей ответить. Я не хотел оскорбить ее и тем самым поставить в опасность только что полученную свободу. Я пробормотал что-то о том, что надеюсь встретиться с семьей в Бузулуке, куда нас направляли. Я добавил, что я не уезжаю из Советского Союза и буду работать для блага России. Она не ответила мне. Выполнив свои обязанности, она отправила меня в соседнюю комнату. Там мне выдали 200 рублей на дорогу.

Выходя из барака, я очень старался не попасть сно-

ва в комнату, где сидела та девушка. Чувствуя себя свободным человеком, я вошел в кабинет комиссара, командовавшего всей операцией "Освобождение". Я говорил очень осторожно, очень медленно, как равный с равным. Я сказал ему, что жду Давида Крола, который все еще томится по ту сторону забора. Сколько времени, по его мнению, мне еще предстоит ждать? Комиссар посмотрел на меня и попросил повторить имя. Потом он посмотрел в какие-то бумаги и сказал негромко: "Не ждите его, его не освободят. Советую вам идти одному". Я пошел. Перед тем, как покинуть этот лагпункт, я подошел к забору и увидел Крола, который стоял в толпе заключенных и все еще верил в то, что его освободят. У меня не хватило мужества заговорить с ним — я знал, что его ожидает. Он не заметил меня. Он вышел на свободу только через семь долгих лет, причем ему и тогда запретили вернуться в Центральную Россию.

С тяжелым сердцем, попрощавшись про себя с Кролом, я пустился в путь к свободе. Знаете ли вы, что такое свобода? Можно ли описать чувства человека, в течение месяцев запертого на замок, находящегося под неусыпным надзором стражи, которого наконец отпускают, и он идет медленно, сам по себе, и повторяет: "Я свободен. Я свободен?!"

За плечами у меня был маленький вещмешок, в руке — кусок хлеба. Я шел по траве между деревьев и кустов. Сквозь густую листву пробивались солнечные лучи. Сотни раз я останавливался по дороге на станцию, чтобы понаблюдать за порхающими бабочками, ползающими по земле жуками, просто посмотреть на мою собственную тень между деревьев.

До станции было около двадцати километров. Пришел я туда уже к вечеру. На запасном пути стояло около двадцати товарных вагонов. Я видел, как люди забирались в эти вагоны и располагались там. Кто-то окликнул меня. Группа еврейских парней

в одном из вагонов пригласила меня присоединиться к ним. Я принял приглашение. В вагон было очень трудно залезать, он был очень высоко поставлен на осях. Но ребята помогли мне забраться наверх. Мне устроили даже "постель" около двери.

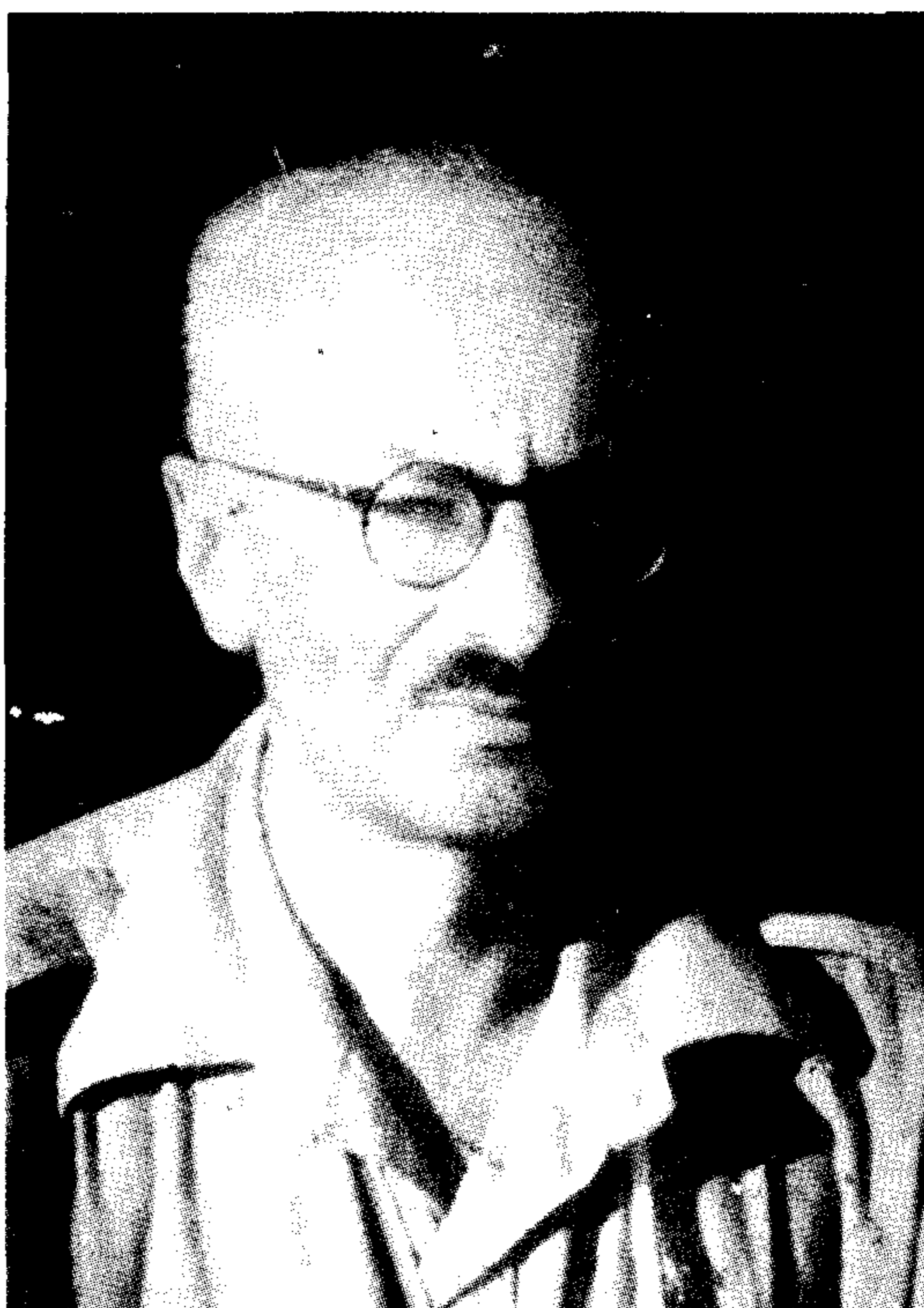
Все это было просто невероятно! Возвращение. Но возвращение куда? Мы оживленно разговаривали. Каждый рассказывал свою историю. Один из ребят сходил на станцию и принес кипятку и свежего хлеба. Это был пир, достойный королей. К нам в вагон забралось несколько бывших польских офицеров, которых я знал по лагерю. Всего нас было человек шестнадцать.

Поздно ночью поезд тронулся, постепенно набирая скорость. Дорога заняла шесть суток. Мы останавливались на больших станциях, пили чай, покупали свежий хлеб и козий сыр, яйца, разговаривали с людьми. Все говорили о кровавой войне. Противник быстро продвигался вглубь России.

На одной узловой станции я пересел из товарного поезда в пассажирский. Через два дня я прибыл на маленькую станцию Бузулук. Было около шести часов вечера, когда я добрался до места моего назначения — штаба Польской Армии в Советской России. Я зашел в один из переполненных барачков, обнаружил свободный соломенный тюфяк и заснул тяжелым сном. Соседи сказали мне утром, что ночью меня несколько раз рвало и что они ухаживали за мной.

Через несколько дней начались проверки. Кого следует принимать в армию? Никто не знал ничего определенного. Я просил, чтобы меня принял генерал Андерс, главнокомандующий Польской армией в России. Его адъютант, лейтенант Романовский, спросил меня: "Кто вы такой, чтобы говорить с генералом Андерсом?" Я ответил с достоинством: "Передайте генералу, что с ним хочет встретиться

командующий "Брит гахаял". Романовский посмотрел на меня, небритого, в лохмотьях, практически босого, но промолчал и вышел из комнаты. Через полчаса он вернулся и сказал, что генерал Андерс приглашает меня к себе.



М. Шескин по выходе из лагеря.

**В АРМИИ ГЕНЕРАЛА АНДЕРСА**

## ЕВРЕЙСКИЙ ЛЕГИОН

Дождливым октябрьским днем 1941 года я впервые встретился с генералом Владиславом Андерсом. Я рассказал ему о нашей идее сформировать Еврейский легион, боевую единицу под командованием еврейских офицеров, целиком входящую в Польскую армию. Я предложил сделать это подразделение большим, не меньше дивизии, а то и больше. Сражаться этот легион будет под бело-голубым флагом, команды будут отдаваться на иврите. Легион должен был, по нашей мысли, участвовать в войне с Гитлером. После окончания войны легион должен был боевым порядком добраться до Палестины и принять участие в борьбе за основание еврейского государства. Андерс внимательно слушал меня, и я видел, что размах этого плана впечатляет его.

У меня создалось впечатление, что генерал Андерс сочувствует идее создания Еврейского легиона. Это впечатление основывалось на предложении, высказанном Андерсом, что мне следует "прощупать" мнение штабных офицеров, и с этой целью он прикомандировал меня к штабу Польской армии.

В августе 1939 года, менее, чем за месяц до начала Второй Мировой войны, я вел переговоры с польским правительством по вопросу создания еврейских боевых подразделений. Мой старый друг, начальник варшавской полиции капитан Рунге очень помог мне тогда в ведении переговоров. Внезапное нападение Германии и эвакуация Варшавы прервали эти переговоры.

Мы свято верили, что мечта о Легионе станет былью. Поэтому мы мобилизовали все наши усилия и связи и регулярно отчитывались перед генералом Андерсом о проделанной работе. Ожидали, что окончательное решение будет принято по приезде генерала Сикорского, за которым было последнее слово.

В октябре 1941 года советские правительственные учреждения были эвакуированы из Москвы в Куйбышев. Этот город стал и центром моей деятельности. После эвакуации в Куйбышеве расположилось советское правительство и все иностранные посольства. Я постоянно сновал между Бузулуком — военным центром, и Куйбышевом — центром политическим.

Мы верили в то, что крупные польские военачальники и дипломаты, которые в свое время выступили в поддержку нашего начинания, поддерживают нас до сих пор. Если генерал Сикорский выразит свое согласие, то Легион будет сформирован! Начнется его организация и запись добровольцев. Это была воистину сладкая мечта! Наша фантазия уводила нас все дальше и дальше. В своем воображении мы уже видели осуществление нашей мечты. Мы молили Господа о том, чтобы наше предприятие увенчалось успехом. Помню, я все время твердил слова 126-го псалма: "Кто сеет в слезах, будет жать в радости".

Ожидалось, что генерал Сикорский должен был приехать в Бузулук 11 ноября 1941 года. До войны этот день торжественно отмечали в Польше как исторический праздник польской национальной независимости. Вся Польская армия готовилась к торжественной встрече генерала Сикорского. Поляки считали Сикорского спасителем нации, символом возобновившейся борьбы за жизнь и свободу. Это был его первый приезд в Россию. Он стал возможным в результате заключения пакта о сотрудничестве между Польшей и Советской Россией — первого до-



говора между двумя странами после долгих лет вражды.

Трудно описать, с каким нетерпением мы ждали приезда Сикорского. Почти все польские военные и дипломатические лидеры, сочувствовавшие идее Легиона, утверждали, что необходимо лишь окончательное согласие Сикорского. Они утверждали, что по прибытии в Бузулук генерал наверняка даст свое согласие на создание Еврейского легиона. Все предварительные меры для формирования легиона были срочно разработаны в мельчайших деталях. К нашему сожалению, приезд генерала Сикорского был неожиданно и без объявления причин отложен.

Новая дата приезда генерала не была известна. Было объявлено что генерал задержался из-за неблагоприятного развития событий на фронтах войны. В это время в различных политических и военных кругах польской эмиграции в России начали развиваться личные конфликты и интриги.

Мы продолжали мечтать о легионе и не прекращали своей деятельности. Мы разрабатывали и добавляли к проекту все новые технические детали. В командиры легиона прочили полковника Галадика. Полковник Галадик был известен всем, как либерал и друг евреев. Его боевое прошлое было блестящим и богатым событиями. Даже его враги уважали его. Мы были убеждены, что полковник Галадик — лучшая кандидатура на пост начальника легиона.

Голяков, поддерживающих идею легиона, можно было разделить на три группы.

1. Группа истинных друзей евреев, которые искренне хотели помочь нам в наших националистических устремлениях — сформировать собственный легион, с тем, чтобы на основании борьбы с фашизмом за дело освобождения Польши мы могли с полным правом требовать после войны от стран мира признания независимого еврейского государства в Эрец

Израэль. Эти люди помнили времена, когда польские патриоты организовывали Польский легион, чтобы сражаться с царской армией за независимость Польши. В этом легионе было очень много евреев, которые храбро сражались за независимость Польши. Знали эти люди и то, что в Польских Вооруженных Силах растет антисемитизм. Поэтому они считали, что спасти евреев от дальнейших репрессий можно только выделив их в специальное подразделение.

2. Группа разочарованных польских офицеров и генералов, слишком экстремистски настроенная, чтобы поддерживать режим Сикорского-Андерса. Приближенные Сикорского и Андерса с подозрением относились к ним. Представители этой группы надеялись, что с помощью Еврейского легиона они завоюют мировое общественное мнение, в особенности, еврейское. После этого они надеялись с помощью Еврейского легиона улизнуть из СССР. В то время уехать из Советского Союза обычным путем было абсолютно невозможно.

3. Группа военных-антисемитов, которые просто хотели избавиться от евреев во вновь формируемых Польских Вооруженных Силах. Их неприязнь и ненависть к евреям были столь сильны, что они предпочитали предоставить евреям собственный легион, чтобы очистить от них польскую армию.

Меня всегда интересовало, антисемит ли генерал Андерс. Должен прямо сказать, что за весь период моей общественной деятельности я ни разу не видел и не слышал ни одного прямого публичного заявления со стороны генерала Андерса, которое можно было бы квалифицировать как антисемитское. Я несколько раз присутствовал на различных заседаниях, на которых генерал Андерс выступал с речами перед офицерами, работниками штаба или начальниками отделов его "Пентагона". И ни разу ни одна антисемит-

ская фраза не слетала с его уст. Но в то же время я неоднократно слышал, как он высказывался против антисемитизма, несмотря даже на то, что подавляющее большинство его военных советников, помощников и адъютантов были открытыми антисемитами, а некоторые из них вели себя с евреями по-скотски грубо.

Я был в Куйбышеве, когда советские власти арестовали двух лидеров Бунда — Генриха Эрлиха и Виктора Адлера. Опасаясь того, что меня тоже постигнет такая участь, генерал Андерс немедленно связался по телефону со своим атташе в Куйбышеве и приказал снабдить меня мундиром польского офицера в высоком звании и отправить меня в Бузулук в его личном генеральском самолете. Это был со стороны генерала Андерса великодушный жест. Этим своевременным приказанием он, возможно, спас мне жизнь и свободу. Может быть, он хотел нажать и некоторый политический капитал, помня о том, что ему предстоит вернуться в Польшу. Я до сих пор не знаю, было ли это знаком личной привязанности или что-то другое. Но тем не менее, этот случай не внес ясности в вопрос о том, почему генерал Андерс терпел и даже насаждал антисемитизм во вверенной ему Польской армии.

Центральный вербовочный и тренировочный пункт Польской армии в изгнании в Советской России находился в селе Тоцкое. Там квартировали тысячи поляков и польских евреев, прибывших из сотен исправительно-трудовых лагерей и тюрем, со всех концов России. Они приезжали в Тоцкое, чтобы записаться добровольцами в Польскую армию под командованием генерала Андерса. До семидесяти процентов добровольцев — польских граждан составляли польские евреи.

Предложенный нами план создания Еврейского легиона состоял, вкратце, в следующем: Еврейский

легион должен был объединять всех мужчин и женщин иудейского вероисповедания среди польских граждан в изгнании в России, которые изъявляли желание вступить добровольцами в отдельную боевую часть и подходили по состоянию здоровья. Данная часть должна была входить организационно в состав Соединенных Польских Вооруженных сил в России и участвовать в войне против гитлеровской Германии. По возможности, все солдаты и офицеры Легиона должны быть евреями. В связи с этим, в легионе в качестве официального языка должен быть принят иврит, введены еврейский флаг и соответствующие опознавательные нашивки. Но во главе легиона должен был стоять польский офицер, специально выделенный для этой цели командованием Польской армии.

Инициаторы проекта Еврейского легиона считали, что проект этот будет легче реализовать, если легион станет частью Польских Вооруженных Сил. Еврейские солдаты в форме польской армии могли чувствовать себя лучше защищенными от дискриминации и репрессий со стороны советской тайной полиции. В тех особенных условиях Еврейский легион, не имеющий отношения к Польской армии, не мог быть создан. Советские власти ни за что бы не согласились держать на своей территории независимую военную единицу, организованную "ультранационалистическими еврейскими кругами, сионистскими лидерами-капиталистами, мечтающими о независимом еврейском государстве в Палестине".

Если бы советское правительство и согласилось на создание Еврейского легиона, то он должен был бы входить в состав Красной армии. На это организаторы Еврейского легиона не соглашались идти. А любое противодействие советским властям со стороны еврейских лидеров было бы убийственно для евреев.

Легион мог бы спасти сотни и тысячи еврейских жизней. Мы верили, что весь еврейский мир поддержит идею такой организации, что евреи будут способствовать реализации этого плана, употребляя все свое влияние и жертвуя средства на создание "еврейской армии". Мы были точно так же уверены, что мировое еврейство, несмотря на всю его разобщенность, сплотится для того, чтобы спасти хотя бы солдат легиона и вывести их из пределов Советского Союза. Еврейский легион мог бы в таком случае сражаться на других фронтах Второй мировой войны, не только на восточном фронте.

Лидеры планируемого Еврейского легиона полагали, что если они примут активное участие в боевых действиях, то еврейским активистам на Западе будет легче вести переговоры с представителями союзников о спасении евреев от уничтожения гитлеровцами. Замечу, что мы тогда еще не знали об истинных масштабах трагедии. Мог Еврейский легион помочь и в деле создания независимого Еврейского государства.

В легион наверняка бы пошли добровольцами не менее 50 тысяч евреев — польских граждан, готовых и способных драться на фронтах войны. Они были готовы сражаться отважно и самоотверженно во имя освобождения Польши и создания нового Еврейского государства. Наконец, легион мог бы спасти всех польских евреев в России, даже тех, кто не был в состоянии нести военную службу. Он мог бы спасти этих людей от преследований и репрессий со стороны советских и польских антисемитов.

У нас было много друзей в среде высшего польского командного состава и политических, и государственных деятелей, находившихся в то время в Советской России. Большинство из них поддерживало (или делало вид, что поддерживает) идею создания Еврейского легиона.

Ни евреи, ни поляки в то время не сомневались в том, что Советское правительство не будет вмешиваться в решение по поводу организации Еврейского легиона. Поляки, даже больше чем евреи, считали, что это было строго внутренним вопросом как с военной, так и с государственной точки зрения. Считалось, что так как Польские Вооруженные силы в Советском Союзе подчиняются исключительно своему собственному главному командованию в Лондоне, а не Советскому правительству в Куйбышеве или Москве, Польская армия имеет право самостоятельно решать вопросы об организации своих военных соединений и боевых групп. И называть их поляки могли, как вздумается, например — "Еврейский легион" — ведь эта часть оставалась составным элементом Польских Вооруженных сил.

Среди выдающихся польских лидеров, поддерживавших идею создания Еврейского легиона выделялись:

1. Генерал Карасевич-Токаржевский, начальник Шестой дивизии, дислоцированной в Тоцком. Это был кадровый генерал довоенных Польских Вооруженных сил и заметная личность среди польских военных руководителей;

2. Полковник Галадик, начальник военно-тренировочного центра в Тоцком, тоже кадровый офицер, принадлежавший к так называемой "группе Пилсудского" и пользовавшийся в офицерской среде большим авторитетом;

3. Полковник Пстроконский, первый заместитель начальника штаба Польских Вооруженных сил в Советской России.

Кроме вышеупомянутых уважаемых и заслуженных офицеров, нас поддерживали и другие военные и штатские деятели различных рангов, как в самой Польской армии, так и в связанных с нею многочисленных политических и идеологических группи-

ровках. Начальник штаба армии, полковник Окулицкий, который был заместителем и главным советником генерала Андерса, также относился положительно к идее Еврейского легиона.

Генерал Токаржевский и полковник Галадик разрешили адвокату Марку Кагану продолжать свои выступления перед офицерским составом их соединений, в которых Каган разъяснял проект Еврейского легиона. Это очень помогло г-ну Кагану в его усилиях, направленных на пропаганду проекта создания Еврейского легиона среди влиятельных лиц, в чьих силах было этот проект поддержать или отвергнуть.

Одновременно с действиями г-на Кагана я занимался пропагандой этой идеи в ставке Польской армии в Бузулуке и в Куйбышеве, где помещалось польское посольство. Я был своего рода связным между Куйбышевом и Бузулуком. Такая должность была необходима в то военное время, когда состояние транспорта и средств связи в России было плачевным. К тому же, на почте, телеграфе и телефонных станциях действовала строжайшая цензура.

Нам представлялось, что нам удалось заручиться поддержкой профессора Станислава Кота, польского посла в Советском Союзе. Моя первая встреча с профессором Котом продлилась несколько часов. Посол сказал мне, что создание Еврейского легиона — это вопрос военный, а не политический. Поэтому он должен обсудить его с генералом Андерсом. Позднее профессор Кот должен был сообщить об этом проекте генералу Сикорскому в Лондон и обсудить проблему с ним в личной встрече.

Никто, конечно, не знал содержания донесения, отправленного Котом в Лондон Польскому правительству. В своих мемуарах профессор Кот раскрывает, впрочем, содержание этой депеши, посланной в Лондон 11 октября 1941 года. Вот отрывок из его книги:

”В армии наблюдается огромный приток евреев, в

некоторых частях — до сорока процентов личного состава. Наши военные советники хотят уже установить процентную норму для евреев в армии. Как наши антисемиты, так и еврейские националисты (последователи Жаботинского) выдвигают идею создания чисто еврейского соединения под польским командованием. С политической точки зрения такое решение крайне нежелательно, и было бы неплохо, если бы Лондон не поддержал этого предложения”.

Г-н Кот ни словом не обмолвился ни мне, ни кому-либо из моих коллег — инициаторов создания Еврейского легиона, о том, что он как посол противился созданию легиона. Не говорил он и о том, что послал в Лондон вышеупомянутую депешу. На деле посол Кот всеми доступными ему средствами стремился дезинформировать нас и представить свою позицию в выгодном для него свете.

Истинные подробности происходящего хранились тогда в глубокой тайне. Тайну эту через много лет раскрыл никто иной, как сам профессор Кот.

В потрясающем по своей откровенности признании, напечатанном на стр. 204—205 книги его мемуаров, профессор Кот сообщает, что 8 декабря 1941 года Сталин дал аудиенцию генералу Сикорскому в присутствии генерала Андерса и посла Кота. В конце долгого разговора, в котором затрагивались все аспекты польско-советских отношений, произошел следующий обмен репликами. Говоря о количестве солдат в формируемой польской армии, генерал Андерс сказал Сталину:

— По всей видимости, в моем распоряжении будет полтора-два тысяч солдат, то есть восемь дивизий. Солдат могло быть и больше но среди потенциальных мобилизуемых слишком много евреев, отказывающихся служить в армии.

Сталин ответил ему:

— Евреи — паршивые солдаты.



Все, что говорил посол Кот мне и моим коллегам по поводу проекта Еврейского легиона, было откровенной ложью. Мы с Каганом заручились поддержкой адвоката Людвиг Зайденмана, уполномоченного по еврейским делам в польском посольстве в России. Нам казалось, что это — первый шаг на пути к установлению контактов с послом Котом.

В гостинице "Националь" в Куйбышеве была созвана конференция, посвященная обсуждению проекта Еврейского легиона. В ее работе приняли участие Зайденман и лидеры Польской Еврейской Социалистической партии Бунд Виктор Альтер и Генрих Эрлих. Дебаты время от времени становились весьма бурными. Лидеры Бунда резко нападали на меня, утверждая, что осуществление наших планов "приведет к созданию нового еврейского гетто и усилению антисемитизма в и без того зараженных этой болезнью Польских Вооруженных силах". Впридачу, утверждали Альтер и Эрлих, создание легиона произведет невыгодное впечатление на международное еврейство. По сути, лидеры Бунда настаивали на том, что в ближайшем будущем им удастся полностью нормализовать свои отношения с Советской властью, и что идея создания Еврейского легиона наверняка помешает этой нормализации уже в самом ее начале.

Я, со своей стороны, возражал социалистам-бундовцам, в основном по вопросу о нормализации отношений с Советской властью. Я утверждал, что для такого оптимистического прогноза нет совершенно никаких оснований. "Завтра же нас могут бросить снова в тюрьму или в лагерь", — говорил я им.

Альтер и Эрлих упомянули о том, как НКВД помогает работе Антифашистского комитета в Москве. Я ответил на это, что пока мы все находимся в "советском раю", о таких вещах, как сотрудничество и безопасность просто не может быть и речи. Единствен-

ный путь к спасению для тысяч евреев — это косвенный путь через Польскую армию и Еврейский легион. Конференция эта так и не привела к сближению наших позиций.

Очень грустно говорить о том, что мои резкие слова оказались пророческими: в тот же самый вечер, через несколько часов после нашей конференции, я обедал с Альтером и Эрлихом. Часов около девяти вечера Альтера позвали к телефону. Через несколько минут он вернулся к нам, радостно улыбаясь, и сообщил, что его и Эрлиха приглашают немедленно в управление НКВД. Он считал, что, наконец, пришло долгожданное разрешение Сталина на поездку членов Антифашистского комитета в США. Альтер и Эрлих ушли, надеясь вернуться через короткое время. Альтер даже попросил оставить ему чашку чая: "Их хаб либ кальтен те".

Я был последним, кто видел их. Я прождал их до трех часов утра. Потом, будучи уверен, что их задержали, я пошел в Польское посольство и сообщил о происшедшем послу Коту. Он немедленно связался с Прокурором Советского Союза А. Я. Вышинским, но не смог добиться от него никакой информации. Позднее стало известно, что Вышинский санкционировал арест Эрлиха и Альтера, но в разговоре с Котом он отрицал какую бы то ни было свою причастность к этому инциденту. Он даже утверждал, что ему ничего об этом деле неизвестно.

На следующий день профессор Кот послал корзину съестных припасов в местную тюрьму, полагая, что лидеров Бунда содержат там. Корзина была возвращена вместе с запиской, в которой говорилось, что в советской тюрьме кормят лучше, чем в Польском посольстве. Только через много лет правда об этом деле стала известна миру. Эрлиха и Альтера расстреляли в ту же ночь.

Когда в Бузулук приехал генерал Сикорский,

он пригласил меня на частную беседу. Во время этой беседы генерал сказал, что он внимательно следит за усилиями, предпринимаемыми в Бузулуке и Куйбышеве, направленными на создание "определенной еврейской военной части".

Он пообещал мне вызвать меня к себе еще раз, чтобы обсудить этот план поподробнее. Дважды мне сообщали день и час, в который мне надлежало явиться на прием к генералу, и дважды аудиенция откладывалась. Это было делом рук тех лиц и группировок, которые стремились изо всех сил воспрепятствовать моей встрече с генералом Сикорским. В конце концов им это удалось: встреча так и не состоялась.

После отъезда генерала Сикорского из Бузулука мне конфиденциально сообщили, что отдел секретной службы "Пентагона" в Советском Союзе получил инструкцию о моем увольнении из рядов Польской армии. Проверив достоверность этой информации, я начал уже опасаться, что Советские власти меня арестуют. Я подозревал, что моя намечающаяся отставка была делом рук моих врагов, противников создания Еврейского легиона.

Советское правительство, располагавшее огромным штатом осведомителей в генеральном штабе Польских Вооруженных сил, знало обо всем, что происходило в Польской армии, в том числе, и о плане создания Еврейского легиона.

## КВАРТИРМЕЙСТЕР

С помощью полковника Мариана Болеславича, командира только что сформированной Девятой дивизии, и его начальника штаба, майора Линка, мне удалось перебраться в город Маргелан в Узбе-

кистане. Там была дислоцирована Девятая дивизия. 27 декабря 1941 года меня прикомандировали к квартирмейстерскому управлению, и это спасло меня от ареста и возвращения в советский лагерь.

Я хочу выразить свое восхищение полковником Болеславичем, который, не считаясь с возможными последствиями для собственной карьеры, принимал в свою дивизию евреев, несмотря на то, что имел ясные указания не делать этого. У этого человека было большое сердце и высокие моральные нормы. Ряд еврейских лидеров, среди них и Менахем Бегин, смогли добраться до Палестины только потому, что им удалось покинуть пределы России в составе Девятой дивизии Польской армии.

Маргелан — город в Ферганской долине, цветущей стране фруктовых садов, населенной преимущественно узбеками. Здесь, в большой городской усадьбе располагался штаб Девятой дивизии. Окно моего кабинета выходило на большой штабной двор и я мог наблюдать за всем происходящим в штабе. Я часто встречался с полковником Болеславичем, начальником штаба, майором Линком и другими старшими офицерами дивизии. Я был единственным евреем в штабе дивизии. Майор Линк выдал мне разрешение поселиться в городе. Я снял две комнаты у одной милой старушки, которая готовила мне завтраки и обеды и заботилась о моей одежде.

Узнав о том, что начальником Девятой дивизии назначен полковник Болеславич, человек с отличной репутацией, в Маргелан приехало немало евреев, которых не приняли в другие соединения польской армии. Я помог многим из них стать солдатами Девятой дивизии.

Проведя несколько месяцев в Маргелане, я неожиданно получил приказ от генерала Андерса присоединиться к группе из восьми квартирмейстеров, которая направлялась в Иран, чтобы подготовить поход-

ные лагеря для Польской армии, в планы которой входило покинуть СССР через иранскую границу. Я несказанно обрадовался, узнав, что скоро покину "гостеприимные" пределы Советского Союза. Полковник Болеславич организовал скромный прощальный обед в мою честь в офицерском клубе.

29 марта 1942 года мы прибыли в город Пахлеви, где были тепло встречены группой английских квартирмейстеров. Мы немедленно начали приготовления на пляжах Пахлеви: устанавливали палатки, полевые кухни и прочее — все необходимое для жизни полутора тысяч солдат. Я был "офицером связи" между польскими и английскими квартирмейстерами.

Как случилось, что я попал в число первых восьми польских квартирмейстеров, покинувших пределы СССР? В конце концов, мой опыт в этом качестве был весьма невелик. Почему же меня послали? Может быть, потому, что я знал языки? Но в Польской армии было немало офицеров, отлично говоривших по-английски. Я не слишком-то верю в "счастливые случайности". Итак, вопрос этот оставался без ответа. Только через несколько месяцев я узнал, что произошло на самом деле.

Во время одной из своих поездок по Ирану я встретился с капитаном Люсковичем. Капитан Люскович был родом из Вильно, мы знали друг друга давно. Он сказал мне, что главный юридический советник нашей фабрики в Олькениках, адвокат Павел Андреев, очень умный человек и мой хороший приятель, оказался родственником генерала Андерса, и что он немало лет провел в Сибири, в лагерях. Я понятия не имел об этом. Когда Павел приехал в Бузулук, я был уже в Маргелане. Естественно, что из разговоров с Андерсом Павел узнал о том, что я был в Бузулуке и об истории Еврейского легиона. Я предполагаю также, что, когда Павел узнал, что я — квартирмейстер Девятой дивизии, он предложил, чтобы ме-

ня послали в Иран с первой же группой квартирмейстеров. У меня нет никаких сомнений в том, что все это произошло именно так. Впоследствии я много раз писал Павлу, но письма, вероятно, до него не доходили.

Из Пахлеви я перебрался в Казвин, а оттуда — в Хамадан. Хамадан — это та самая Шушан-габира, где в специальном мавзолее похоронены вместе царица Эстер и Мордехай. Могила царицы Эстер покрыта множеством маленьких ковриков. Сюда евреи со всего Ирана собираются на празднование Пурима.

## МЕНАХЕМ БЕГИН В ПОЛЬСКОЙ АРМИИ

В Маргелане, в Узбекистане, Бегина и меня приветствовали старые друзья из Вильно. На нашей встрече мы решили обратиться к д-ру Иоханану Бадеру и посоветоваться с ним о том, как легче всего попасть в Палестину. Д-р Бадер жил тогда со своей семьей в Марах, в Туркмении. Он сказал, что единственно возможный путь в Палестину — это вступление в Польскую армию, потому что получить выездную визу из СССР в то время было практически невозможно. Следуя этому совету, Менахем Бегин предстал перед медицинской комиссией, отбиравшей солдат в Девятую дивизию.

Врач, осмотрев его, вынес решение "негоден к службе в армии по состоянию здоровья". Тогда Менахем написал письмо майору Линку, начальнику штаба дивизии, с просьбой о том, чтобы его все-таки мобилизовали. Он дал это письмо мне, а я передал его майору Линку. Бегин был приглашен на прием к начальнику штаба, и в результате этой встречи в медицинскую комиссию было послано официальное

письмо. Бегину была устроена новая проверка, на которой обнаружилось, что он вдруг излечился от всех своих недугов и стал значительно сильнее физически.

**ТЕЛЬ-АВИВ—АМЕРИКА—ИЕРУСАЛИМ**



## В ПАЛЕСТИНЕ

В середине мая 1942 года я получил приказ поехать в короткую командировку в Палестину. Через два дня я был уже в Тель-Авиве. Трудно описать чувства, охватившие меня при въезде в этот город. Я ехал в военной машине, в форме майора Польской армии. Было около шести часов вечера. Уже темнело. Я ехал со стороны Реховота. Проехав через всю улицу Алленби, я добрался до дома моей двоюродной сестры, Нюты Блох, которая жила в Тель-Авиве уже много лет. Жила она на улице Бен Иегуда. Медленно поднимаясь по лестнице на третий этаж, я пытался вспомнить, когда я был здесь в последний раз. Дверь квартиры была незаперта. Я вошел в комнату и увидел, что вся семья моей кузины сидит за обеденным столом. Я молча стал на пороге. Заметили меня только через пару минут. Тут Нюта вскочила на ноги и упала в обморок. Она слышала от кого-то, что я умер в Сибири. Но вот я стоял перед ней, хоть и "мертвый", но чисто выбритый и элегантный польский офицер. Первыми словами Нюты, когда она пришла в себя, были: "Но ведь ты же умер!" "Вовсе нет", — ответил я, улыбаясь. Мы провели целый вечер, рассказывая друг другу о себе, плача и обнимаясь.

Когда я появился в Эрец Исраэль, г-н Ицхак Гринбаум созвал специальное заседание Еврейского агентства, на котором я рассказал о жизни евреев в России. На встрече этой присутствовали все члены правления Еврейского агентства.

Один из присутствовавших, г-н Зерубавель, встал и сказал:

— Мы все знаем, к какой политической группировке принадлежит д-р Шескин. Его показания ложны. Я тоже был в Советском Союзе, но не видел ни лагерей, ни арестов, ни репрессий.

Зерубавель был одним из многочисленных "левых" в руководстве Еврейского агентства. Может быть, он свято верил в то, что говорил, но по сути дела он дезинформировал собравшихся.

В 1947 году в Иерусалим приехал Иван Майский, советский посол в Великобритании. Через меня он познакомился с Ицхаком Гринбаумом из Еврейского агентства, который представил Майского Моше Шарету. Шарет встретил Майского с большим почетом и организовал в его честь прием в кибуце "Кирият Анавим". Переговоры Майского с Шаретом прошли весьма удачно. Они помогли выяснить позицию СССР в отношении создания еврейского государства в Палестине.

Франтоватый англофил, еврей Майский выглядел настоящим англичанином. В Лондоне он занимался тем, что разъяснял часто противоречивую политику Сталина английскому правительству. Он завязал отличные отношения в Министерстве Иностранных дел Великобритании, хоть и не стал доверенным лицом ни лорда Галифакса, ни Уинстона Черчилля. После заключения советско-германского пакта и после начала финской войны в 1939 году Майский попал "в опалу". Но когда в 1941 году Гитлер напал на Россию, он превратился в одного из "львов" лондонского света. Майский был первоклассным дипломатом и в совершенстве владел искусством красивого жеста. Так, он пожертвовал в трудные военные годы на переплавку чугунную решетку забора, окружавшего советское посольство. Я часто встречался с г-ном Майским в Тель-Авиве. Я даже организовал

ему встречу с моим начальником, генералом Андерсом. Главной темой наших разговоров было положение польских евреев в Советской России и необходимость предпринять надлежащие меры с тем, чтобы польским евреям было легче стать солдатами армии генерала Андерса. Я рассказал послу Майскому о годе, проведенном мною в советском лагере. Он внимательно и молча слушал, не пытаясь привести факты, оправдывающие создание "архипелага ГУЛаг". Когда я рассказал ему, что в молодые годы был увлечен идеями Плеханова, старейшины русской социал-демократии, Майский в свою очередь рассказал о том, что в молодости он был одним из лидеров меньшевиков и часто встречался с Плехановым в Швейцарии. Он вспомнил, какое глубокое впечатление произвел на него Плеханов своей чуткостью и отзывчивостью. Но тут же он сказал, что времена меняются, и что идеи Плеханова неверны в современную эпоху. В 1926 году Майский вступил в партию большевиков.

Еврейская жизнь в Палестине произвела огромное впечатление на Майского. Он подробно рассказывал о достижениях еврейских поселенцев Гарольду Ласки, лидеру английских социалистов.

## ТЕЛЬ-АВИВ

В 1945 году, после демобилизации из Польской армии, я получил от мэра Тель-Авива, г-на Исраэля Рокаха предложение возглавить муниципальную контору по делам союзных войск. В то время в стране жило множество английских, австралийских, новозеландских, южноафриканских, польских и других союзных солдат.

Этот пост занимал до меня капитан Иегуда Неди-

ви, который решил перейти на другую работу. Я принял предложение г-на Рокаха. Мне отвели просторную контору на улице Алленби, 40, над универмагом ОБГ. Заботы о благосостоянии союзных войск в Палестине отнимали у меня немало времени.

В мои обязанности входило и принимать от имени города всевозможных важных гостей. Мне довелось сопровождать по городу наследного принца Эфиопии, сэра Уильяма Крофта — британского министра, приехавшего в Палестину по приглашению заместителя мэра Тель-Авива, г-на Перельсона, а также — делегацию югославской армии, прибывшую в Тель-Авив в конце 1945 года.

## СЕМЬЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Будучи в лагере, я потерял всякую связь со своей семьей. Только по приезде в Палестину, я пытался помогать матери и брату Муне, посылая им посылки и деньги. В 1945 году я получил из Олькеник ответ на письмо, посланное мною туда за год до того через посредство Красного Креста. Письмо было от главного десятника нашей фабрики Станкевича, который сообщал мне, что мать моя умерла в вильненском гетто, а Муня в 1943 году уехал с семьей в Варшаву. Он писал, что никто не знает, что стало с моим братом. Позднее нам стало известно, что Муня с семьей жили в варшавском гетто вместе с семьей Беллы, а затем были депортированы в Трешлинку.

Еще в России я получил телеграмму, пришедшую из Тель-Авива, от Розы Бирнбаум, невестки моей сестры, на адрес Польского посольства в Куйбышеве. Роза сообщала мне, что Юля с семьей живет в Шанхае.

## ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 1947 году Цви Бонфельд, глава международного отдела фонда 'Тель Хай' предложил мне поехать в Южную Америку и развернуть там деятельность по сбору средств в пользу 'Эцеля'. Одновременно, он предложил мне принять участие в работе Панаме-риканской конференции, которая должна была состояться в колумбийской столице Боготе, в качестве специального корреспондента ежедневной реви-зионистской газеты 'Гамашкиф', выходящей в Тель-Авиве.

Я принял это предложение. Незадолго до дня моего отъезда я получил записку от командующего 'Лехи' Натана Елина-Мора. Он приглашал меня встретиться с ним перед моим отъездом в Латин-скую Америку. Моя встреча с ним была обставлена в лучших традициях детективного боевика. Из моего дома в Тель-Авиве к дому Елина меня везли пооче-редно на трех такси, меняя машины в случайных местах, в разных уголках города, — чтобы сбить со следа британскую разведку. Поездка продолжа-лась около получаса. Наконец, меня подвезли к мно-гоэтажному жилому дому. Последовала целая серия условных сигналов, паролей и отзывов, после чего меня подвели к двери квартиры, на пороге которой меня ждал Елин-Мор. Это был высокий грузный человек, добродушного вида, глядя на которого нельзя было подумать, что он сможет обидеть и му-ху. Тем не менее, это был глава 'Лехи', сменивший на этом посту убитого англичанами Авраама Штерна ('Яира').

Елин-Мор попросил меня не забывать и о деятельно-сти 'Лехи' при сборе денег в Южной Америке. Мы долго обсуждали идеологию и деятельность его орга-низации. Я ответил ему, что могу взять на себя функ-ции сборщика средств для 'Лехи' только с ведома

и с разрешения руководителей "Эцеля", организации, членом которой являюсь сам. Если такое разрешение будет выдано, я приложу все силы для того, чтобы часть собранных мною средств была переправлена в кассу "Лехи".

Обратная дорога была не менее запутанной и сложной. Я пишу эти строки в день, когда стало известно о смерти Натана Елина-Мора в возрасте 67 лет. С той далекой поры я почти не встречался с ним, только совсем недавно он посетил меня в Иерусалиме в связи с подготовкой книги своих воспоминаний.

В Латинской Америке я обосновался в Буэнос-Айресе, но много времени проводил в Рио-де-Жанейро, Венесуэле и в Мексике. В 1948 году, находясь в Нью-Йорке, я получил известие, что Иргун Цвай Леуми ("Эцель") посылает меня со специальной миссией во Флориду. Я поехал туда с д-ром Гарри Леви и группой друзей и начал там широкую кампанию по сбору средств. Мои полномочия подтвердились документом, выданным 1 января 1948 года за подписью командира Двири.

Положение в Палестине было очень напряженным — бои с англичанами все усиливались. "Эцель" сильно нуждался в оружии. В Латинской Америке я начал кампанию "Габарзель" — сбор средств на покупку оружия. Через несколько месяцев нам удалось снарядить первый корабль с оружием, который отправился из Мексики в Палестину. Когда судно это отплыло, я получил в подарок от мексиканских друзей красивые золотые часы с надписью "Габарзель".

14 мая 1948 года я был в Венесуэле, где выступал на различных митингах и собраниях, созываемых для сбора средств в пользу борющихся евреев. В ту ночь меня разбудили мои друзья и сообщили, что в Тель-Авиве Бен Гурион провозгласил еврейское государство, и что создано Временное правительство.

Я поехал в Центр еврейской общины Каракаса, где сотни евреев плясали и пели, радуясь только что полученному известию. Представитель Еврейского агентства г-н Зоненфельд рассказал мне о событиях минувшего дня в Палестине. Меня как "шалиаха", представителя Палестины, а теперь — Израиля, подняли на руки и закружили в танце молодые каракасские евреи.

## РОЗА

В качестве одного из директоров фонда Тель Хай я организовал в 1949 году в Нью-Йорке коктейль для сбора средств в пользу детского дома в Беер-Якове. Прием был устроен в отеле "Плаза — Савой", в весьма злегантной обстановке. Там я встретил свою будущую жену, Розу Радин. Ее первый муж умер за два года до того от рака, оставив ее с двумя маленькими рыжеголовыми детьми.

Отец Розы, Абрахам Свирский, был когда-то богатым человеком. Он был импозантным человеком, любил хорошо одеваться, покупал своим двум дочерям самые лучшие вещи. Состояние свое он потерял во время кризиса в конце двадцатых — начале тридцатых годов. Его жена Тилли вела хозяйство в большом доме, в подвалах которого хранились бочки квашенной капусты, соленых огурцов и всевозможные припасы.

Джек Радин, первый муж Розы, был адвокатом. Он умер, когда ему не было еще пятидесяти. Роза работала художником-декоратором. В частности, она занималась отделкой здания Израильского посольства в Вашингтоне и дома посла, которым был тогда Гедди Колек. Мать Розы умерла до того, как мы поженились, и я не успел хорошо узнать ее (отец ее умер за

много лет до этого). Сестра Розы, Элси, еще в тридцатые годы переехала в Палестину и живет сейчас в Тель-Авиве.

В воскресенье 26 марта 1950 года мы с Розой поженились в Нью-Йорке. До сих пор я ясно помню, в какой шляпке Роза была на том коктейле, где я ее впервые встретил.

Прошли годы. Сегодня, когда я пишу эти строки, в 1980 году, через 30 лет супружеской жизни, я могу утверждать, что Роза все это время была настоящим товарищем, другом и спутником, в особенности, после того, как я перенес тяжелую болезнь в 1974 и 1976 годах.

Она делала все, что было в ее силах, чтобы сделать мою жизнь легче и приятней и я благодарю Бога за то, что он послал мне свое благословение в лице моей жены.

Не меньше, чем к Розе, я привязался к двум ее малышам. Они были очаровательными и способными детьми. Сузи и Эндру сначала очень ревновали свою мать ко мне. Но в конце концов они приняли меня в члены своей семьи.

Мы сняли квартиру в Манхэттене. За день до свадьбы я перевез туда все свои пожитки, в том числе и одежду. Роза с детьми уже жила там, а я же пока что жил в гостинице.

Церемония бракосочетания проходила в синагоге на Парк-Авеню. Свидетелями были Борис и Шура Прегель и Шломо и Эрна Корнер. Из синагоги мы пошли в отель, где был устроен праздничный завтрак. Около восьмидесяти человек присутствовало на нашей свадьбе. После этого мы уехали в Атлантик Сити, где и провели свой медовый месяц.

В 1949 году в Нью-Йорке мне стал причинять сильные боли сместившийся позвонок, наследство каторжных сталинских лагерей. Я практически не мог двигаться. Даже инъекции морфия не помогали: боль не





С Розой после свадьбы.



Д-р М. Шескин открывает Конференцию Вейцмановского института (Реховот) в Рио-де-Жанейро, 1968 год.

проходила. Необходимо было хирургическое вмешательство, которое и провел д-р Лео Мейер из Джойнт Дизиз Хоспитал, известный хирург, специалист по операциям позвоночника. Операция была очень тяжелая и болезненная. Несколько недель после нее я не вставал с постели. Прошла операция, впрочем, очень удачно.

Когда я лежал в больнице, пришло известие о смерти моего зятя Бронека Ястрея (Бронислава Ястржебского), мужа моей сестры Жени.

## ИЗРАИЛЬСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

(Финансовая корпорация развития Израиля)

В конце 1949 года ко мне обратился министр финансов Израиля Элиезер Каплан с предложением открыть в Южной Америке представительство по распространению Израильских государственных облигаций. Каплан знал, к какой политической ориентации я принадлежу, но все же он предложил мне этот пост, несмотря на сильное противодействие со стороны ряда "левых" лидеров. Сделано это было не без вмешательства директора компании по распространению Израильских государственных облигаций в США Генри Монтора и председателя правления Американо-израильской финансовой корпорации развития Генри Моргентау.

Мне предстояло организовать распространение облигаций на Кубе, в Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Мексике, Перу, Венесуэле, Панаме и Гватемале. Осуществить это было очень трудно, потому что почти во всех этих странах действовали строжайшие ограничения на валютные операции. После необходимых приготовлений в Израиле, я вылетел в

Нью Йорк, а оттуда — в Латинскую Америку. Семья моя и я поселились в Мартинесе, пригороде Буэнос-Айреса, недалеко от президентского дворца. Единственной страной, в которой можно было проводить финансовые операции в иностранной валюте, был Уругвай. В результате, я постоянно ездил в Монтевидео и даже открыл там финансовую контору.

Работа у меня была напряженной. Приходилось очень много путешествовать. Я открыл филиалы в Мексике, Гватемале, Чили, Перу, Панаме, Венесуэле, Уругвае и Бразилии. В каждый из этих филиалов я назначал представителя, замещающего меня во время моего отсутствия. Хоть работа была и хлопотливая, она приносила огромное удовлетворение.

В некоторых странах я установил отличные отношения с членами еврейских общин — особенно в Бразилии, Аргентине и Венесуэле. Трудно объяснить тому, кто не был "шалиахом" из Израиля, то глубокое уважение, с которым евреи относятся к человеку, представляющему еврейское государство.

Дела мои не всегда шли гладко. Когда я впервые приехал в Бразилию и представился послу, генералу Шалтиэлю, он предложил мне немедленно покинуть страну, потому, что мое присутствие в Рио могло, по его словам, привести к охлаждению отношений между Бразилией и Израилем. (В Бразилии в то время существовали особенно строгие законы о валютных операциях.) Я не последовал совету генерала Шалтиэля, но его слова произвели на меня очень неприятное впечатление. Гораздо позднее, уже в Израиле, я узнал, что генерал Шалтиэль послал телеграмму министру иностранных дел Моше Шарету, в которой заявил: "В Рио останется либо Шескин, либо я". В ответной телеграмме Шарет писал, что мы оба должны оставаться в Рио, потому что наша работа одинаково важна для Государства Израиль, а один из нас не может заменить другого. Я открыл

конторы в Рио-де-Жанейро и Сан Пауло. Конторы эти были "замаскированы" под частные предприятия. Во время моих поездок меня сопровождала моя жена Роза. Она была мне отличной помощницей в моей работе.

Во второй год моего пребывания в Латинской Америке я продал израильских государственных облигаций приблизительно на пятнадцать миллионов долларов. Пересылкой денег в Израиль занималась специальная контора в Монтевидео, где, как я уже говорил, не существовало ограничений на валютные сделки.

К 1955 году между Генри Монтором и правительством Израйля развились серьезные разногласия. Г-н Монтор, Сэм Ротберг и другие руководители нашей фирмы просили, чтобы министерство финансов присылало в фирму отчеты о том, как используются полученные от продажи облигаций деньги. Элиезер Каплан наотрез отказался делать это. После нескольких месяцев споров все руководители "Израильских государственных облигаций" подали в отставку, среди них — Генри Монтор, Генри Моргентау и я.

## ИНСТИТУТ ИМЕНИ ВЕЙЦМАНА В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

В 1960 году я основал компанию "Юниверсал электроник Лабораториз". Эта фирма производила электронные приборы для использования в учебном процессе в начальной и средней школе.

В 1966 году господин Меир Вейсгал, президент исследовательского института им. Вейцмана в Реховоте, навестил меня во время одного из своих коротких визитов в Нью-Йорк и предложил мне пост пред-

ставителя Института имени Вейцмана в Южной Америке, с конторой в Нью-Йорке. Поразмыслив некоторое время, я решил принять это предложение.

Я организовал группу под названием "Институт имени Вейцмана в Латинской Америке". В эту группу входили профессора Амос де Шалит, Михаэль Фельдман, Михаэль Села, Пекерис и генерал Амос Хорев (ныне — президент хайфского Техниона). Члены этой группы переезжали из одного латиноамериканского города в другой с лекциями. Группа начала свою деятельность в Старом университете в Рио-де-Жанейро. Председательствовал на собрании Министр просвещения Бразилии. Четыре дня члены нашей группы читали в этом университете разъяснительные лекции, на которые всегда собирался полный актовый зал слушателей.

Я хотел бы упомянуть здесь имя Адольфо Блоха, редактора и издателя ряда газет и журналов в Бразилии. Издаваемый им журнал "Манчетта" расходился еженедельно в 90 тысячах экземпляров в Бразилии, Португалии, на острове Макао и других португальских колониях. Г-н Блох очень помог нам в организации поездки реховотских профессоров по Южной Америке и тем самым способствовал успеху нашей работы.

В 1970 году, оставив работу в институте Вейцмана, я, вместе с Розой, приехал в Израиль. Сестра Розы, Элси уже некоторое время жила здесь. Мы купили дом в Иерусалиме, где живем и поныне.

В 1971 году министр туризма Моше Кол пригласил меня на работу в качестве одного из своих консультантов.

Однако, я скоро разочаровался в стиле работы министерских бюрократов. В первый мой рабочий день я пришел в контору в восемь часов утра. В конторе не было ни души. Полтора часа сидел я один, пока, наконец, в полдесятого в комнату не

вошла молодая женщина. Она сказала: "Я — Сара, твоя секретарша". "Неужели ты не знаешь, что работа в министерстве начинается в восемь?" — спросил я. "Конечно знаю. Так что?". "Но ведь я ждал тебя полтора часа!", — сказал я. Она посмотрела на меня недоумевающим взглядом и ответила: "Ты — оле хадаш (новый репатриант). Ты еще не знаешь жизни в этой стране. У меня есть "квиут" (статус постоянного работника), со мной никто ничего не может сделать". Я пошел к начальнику отдела кадров и рассказал ему о случившемся. Он опустил глаза и тихо ответил, что с этим ничего нельзя поделать, такова, мол, специфика жизни в Израиле. Короче, несмотря на то, что работа обещала быть интересной, мне вскоре пришлось уйти с этой работы.

В конце 1971 года мои друзья, бывшие вместе со мной в сталинском лагере, предложили мне организовать объединение репатриантов с высшим образованием из Советского Союза в Израиле. В Тель-Авиве устроили большое собрание, на котором обсудили этот вопрос. Я был избран председателем нового объединения. Целью этой организации было оказание помощи новым репатриантам в их первых шагах на новом месте.

Организация разрослась. Она завоевала большой авторитет. Через два года количество ее членов достигло 2400. Я не мог уже справиться со все возрастающим напряжением, с которым была связана работа Председателя объединения и по совету моего врача вышел в отставку.

Я вышел на пенсию, хотя все же и не удалился окончательно от "мирских" дел, будучи Почетным председателем Национального Комитета Демократической партии США в Израиле.

Подытоживая прожитое и пережитое, я вижу, что у меня остались теплые воспоминания даже о временах, которые вовсе не были приятными. Я не уверен

в том, что жизнь человеческая может быть совершенна и гармонична. Если мне пришлось познать тяготы и горести, чтобы по достоинству оценить красоту жизни, значит, так мне было суждено. В моей памяти не стерлись образы людей, с которыми мне довелось встретиться, города и страны, где мне пришлось побывать, события, участником которых мне довелось быть.

Жизнь моя была полна событиями и работой. Я не выбирал себе такой судьбы, но получив ее, я старался сделать все, что было возможно.

Всю свою жизнь я сохраняю в душе надежду и веру. Временами эта вера становилась зыбкой. Но я всегда шел вперед дорогой, приведшей меня в Иерусалим. Думая о будущем, я всегда вспоминаю слова Меира Меировича: "Вер вейс? М'кен гурништ висен?"

*Д-р Мирон Яковлевич Шескин один из тех ветеранов сионистского движения, которые принимали активное участие в событиях, определивших рождение еврейского государства. Соратник Зеева Жаботинского, Мирон Шескин организовывал еврейские военные формирования в России и Польше, прошел через русскую революцию 1917 года и сталинские лагеря. Его "университетами" были не только Технологический Институт в Берлине, Колумбийский Университет в Нью-Йорке, и Парижская Сорбонна. Дорога более чем шестидесятилетней общественно-политической жизни автора этой книги пролегла через разные страны Европы, Северной и Латинской Америки и привела в Иерусалим. В этой книге — удивительный рассказ об этом интересном жизненном пути, начавшемся в маленьком еврейском местечке Олькеники, близ Вильно.*



. eck

שׁוּ

שׁוּשׁוּשׁוּשׁוּ

ה

;

!





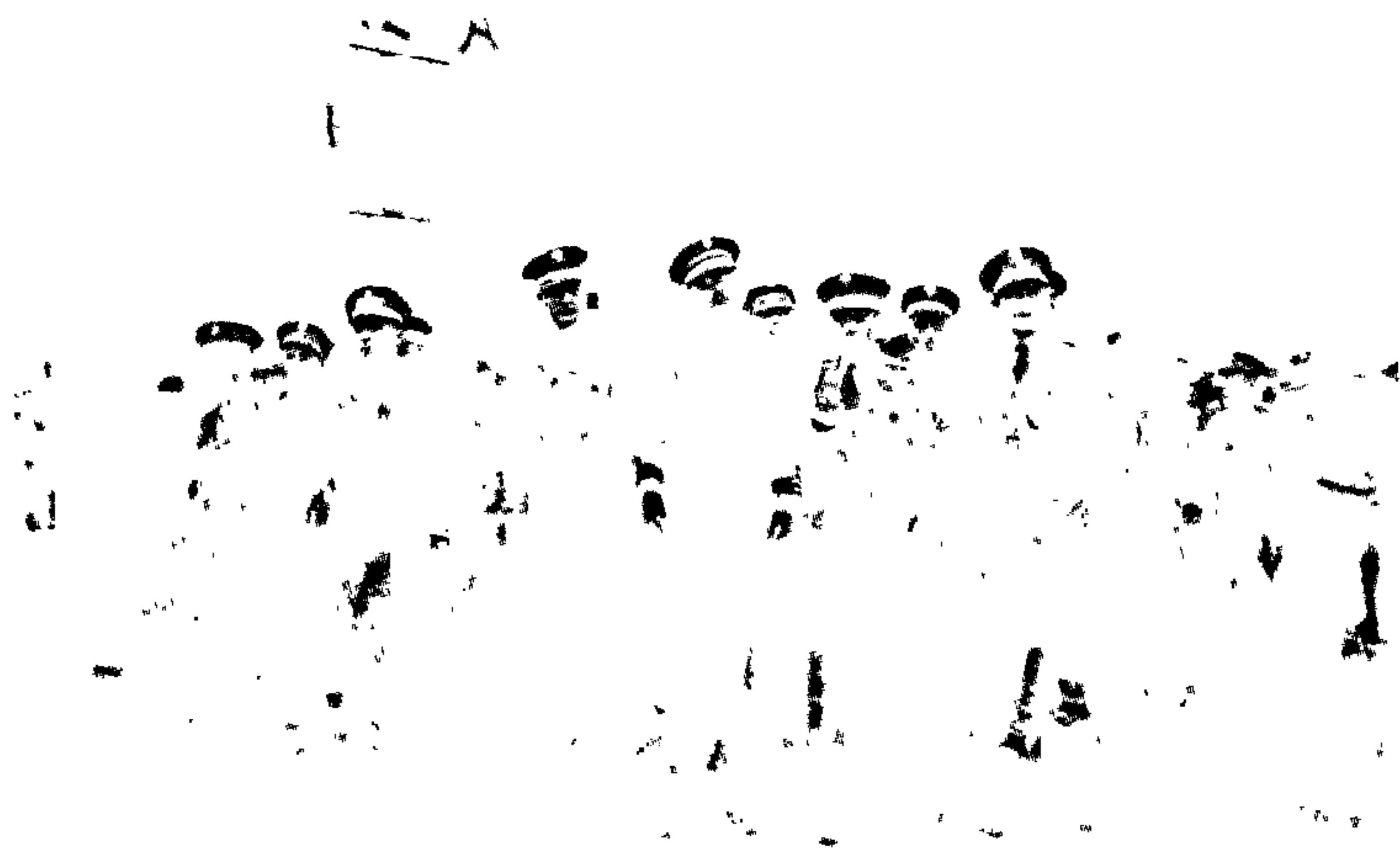
Старая синагога в Олькениках.



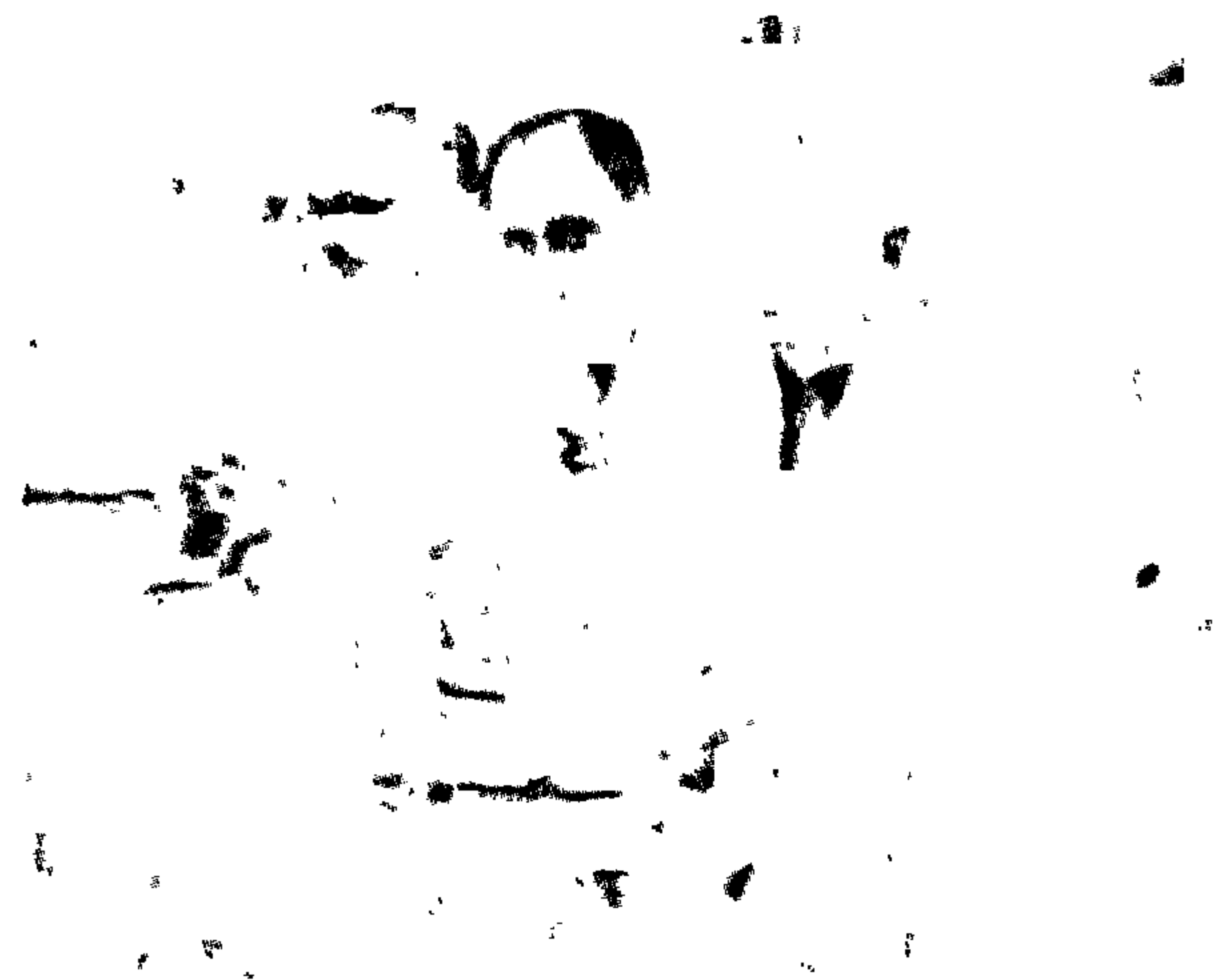
Рабочие фабрики в Олькениках.



М. Шескин — командир "Брит Гахаял".



Парад "Брит гахаял" в Варшаве, 1933 год.



Президиум Ревизионистской конференции в Кракове, 1935 год.  
Второй справа — З. Жаботинский, четвертый справа — М. Шескин.



М. Шескин (справа) с З. Жаботинским (в центре) на улице в Варшаве.



М. Шескин по выходе из лагеря.



С Розой после свадьбы.



Д-р М. Шескин открывает Конференцию Вейцмановского института (Реховот) в Рио-де-Жанейро, 1968 год.